

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра философии

Е. А. Яковлева

П. В. Хрущева

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Часть 1

**Методические указания к изучению курса философии  
для студентов очной формы обучения  
всех специальностей**

Екатеринбург  
2005

Печатается по рекомендации методической комиссии ГФ.  
Протокол №6 от 08.09.04.

Рецензент – преподаватель кафедры философии УрГЮА С. В. Останина

Пособие предназначено для студентов всех специальностей очной формы обучения, изучающих курс «Философия». На практических занятиях студенты учатся анализировать философские тексты, формулировать и аргументировать собственную позицию, дискутируют по представленным проблемам. Вопросы к тексту помогут разобраться в смысле изложенного материала и проанализировать поставленные в нем проблемы. Проблематика выбранных текстов наиболее актуальна и значима для формирования собственной мировоззренческой позиции, тексты доступны для восприятия студентов как гуманитарных, так и технических специальностей.

В пособии особое внимание уделяется античной философии – основе европейской культуры. Для обсуждения выбраны тексты Гераклита, Платона, Плотина, Марка Аврелия. В первой части помещены фрагменты Гераклита и диалоги Платона (в сокращении).

Вторая часть включает позднеантичные тексты, а также охватывает философию Возрождения (Лоренцо Валла и Пико делла Мирандола), философию Нового времени (Паскаль) и XIX века (Ницше).

Редактор А. Р. Шлетнева  
Оператор А. Л. Кузнецов

*Перездание*

Подписано в печать 20.06.05	Поз. 154
Плоская печать	Тираж 300 экз.
Заказ 332/458	Цена 20 руб. 00 коп.
Формат 60x84 1/16	
Печ. л. 3,72	

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ  
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

## ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

### ГЕРАКЛИТ

Людей после смерти то ожидает, чего они себе не представляют и на что не надеются.

Человек, умирая в ночи, сам себе огонь зажигает хотя его глаза померкли, жив он.

Они считают своим учителем толпу, не зная, что большинство – плохо, а меньшинство – хорошо.

Вечность – дитя, переставляющее шашки, царство ребенка.

Для Бога все прекрасно, хорошо, справедливо, а люди одно приняли за справедливое, а другое – за несправедливое.

Идя к пределам души, их не найдешь, даже если пройдешь весь путь: таким глубоким она обладает Логосом.

Признак мудрости – согласиться, не мне, но Логосу внемя, что все едино.

Вечный круговращающийся огонь есть Бог, судьба же – Логос, создающий сущее из противоположных стремлений.

Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в распре, что все рождается через распрю и по необходимости.

Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию и через распрю все создается.

Скрытая гармония сильнее явной.

Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто – ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно разгорающимся и закономерно погасающим.

Душа обладает самообогащающимся Логосом.

Расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающую гармонию лука и лиры.

Из всего возникает единое, из единого – все.

Многознание уму не научает.

Все обменивается на огонь и огонь – на все.

### ПЛАТОН

#### Пир

Наконец Сократ все-таки явился, как раз к середине ужина, промешкав не так уж долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве с краю, сказал ему:

– Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы и мне досталась доля той мудрости, которая осенила тебя. Ведь, конечно же, ты нашел ее и завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места.

– Хорошо было бы, Агафон, – отвечал Сократ, садясь, если бы мудрость имела свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто полон ею; к тому, кто пуст. Тогда я бы очень высоко ценил соседство с тобой: я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью. Ведь моя мудрость какая-то ненадежная, плохонькая, она похожа на сон, а твоя блистательна и приносит успех: вон как она, несмотря на твою молодость, засверкала позавчера на глазах тридцати с лишним тысяч греков.

– Насмешник ты, Сократ, – сказал Агафон. – Немного погодя, взяв в судьи Диониса, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей, а пока принимайся за ужин.

После ужина совершили возлияние, спели хвалу богу, исполнили все, что полагается, и приступили к вину.

Эриксимах сказал:

– Сколько раз при мне Федр возмущался: «Не стыдно ли, что, сочиняя другим богам гимны и пэаны, Эроту, такому могучему и Великому богу, ни один поэт не написал похвального слова. Другие вещи не раз были предметом усерднейших восхвалений, а Эрота никто не отважился достойно воспеть!» Нам, собравшимся сегодня, подобает почтить этого бога. Если вы разделяете мое мнение, мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас, справа по кругу, скажет похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет Федр, который и возлежит первым, и является отцом нашей беседы.

**Федр** начал с того, что Эрот – древнейший бог. Гесиод говорит, что сначала возник Хаос, а следом «Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный, с нею Эрот...» Он – первоисточник величайших благ. Нет большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а для влюбленного – чем достойный возлюбленный. Людей, желающих жизнь прожить безупречно, ничто на свете не наставит лучше, чем любовь. Будучи уличен в неблагоприятном поступке, человек стыдится больше всего тех, кого любит. ... Любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богом. Итак, Эрот – самый древний, самый почтенный и самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им блаженство при жизни и после смерти.

Речь **Павсания**: Нет Афродиты без Эрота, и коль скоро этих богинь две, то и Эротов должно быть два. Старшую Афродиту, что без матери, дочь Урана, мы называем поэтому небесной, а младшую, дочь Дионы и Зевса, мы именуем пошлой. Из этого следует, что и Эротов, сопутствующих обеим богиням, надо именовать соответственно небесным и пошлым.

Не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить. Эрот Афродиты пошлой поистине пошел и способен на что угодно; это та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей, во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они и способны на что угодно: на плохое и на хорошее в одинаковой степени.

В тех государствах, где отдаваться поклонникам считается предосудительным, это мнение установилось из-за порочности тех, кто его придерживается, то есть своекорыстных правителей и малодушных подданных. Ведь варварам из-за их тиранического строя и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Тамошним правителям просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, чему наряду со всеми другими условиями очень способствует та любовь, о которой идет речь.

Ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе: если оно совершается прекрасно – оно прекрасно, если безобразно – оно безобразно. Низок тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит отцвести телу, а тело-то он и любил, как он «упорхнет, улетаая», посрамив все свои многословные обещания.

Поклонника, как бы рабски ни служил он по своей воле предмету любви, никто не упрекнет в позорном угодничестве. И другой стороне остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а именно рабство во имя совершенствования. Если два обычая – любви к юношам и любви к мудрости и всяческой добродетели – свести к одному, то и получится, что угождать поклоннику – прекрасно. Иными словами, если поклонник считает нужным оказывать уступившему юноше любые, справедливые, по его мнению, услуги, а юноша в свою очередь считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу умнее и добродетельнее, а юноша желает набраться образованности и мудрости, если оба на этом сходятся, только тогда угождать поклоннику прекрасно, а в остальных случаях – нет.

Такова любовь богини небесной: сама небесная, она очень ценна для государства и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви принадлежат другой Афродите – пошлой.

**Эриксимах.** Эрот живет не только в человеческой душе и не только в ее стремлениях к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете – в телах любых животных, в рас-

тениях, во всем, можно сказать, сущем, ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов...

**Аристофан.** Эрот – самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем. Мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела.

Прежде люди были трех полов, а не двух, как ныне, – мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, осталось только имя – андрогины. Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног тоже, и по два лица. Мужской пол происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Страшные своей силой и мощью, люди питали великие замыслы и посягали даже на власть богов.

И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними: убить их, поразив род людской громом, – тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс говорит:

– Кажется, я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся, я рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке.

Каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить.

Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.

Итак, каждый из нас – это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей этого двуполого существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень расположены, и лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами.

Это самые лучшие из юношей, ибо от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности. Возмужав, они любят мальчиков, и у них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с другом без жен.

Люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого; чего именно, она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на них. Если бы пред ними предстал Гефест и предложил сплавить, срастить их воедино, каждый счел бы, что услышал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться с возлюбленным в единое существо. Причиной тому изначальная наша природа.

**Сократ** рассказывает о беседе с мудрой женщиной из Мантинен Диотимой, где выясняется, что Эрот не обладает ни красотой, ни благом (любовь – это желание обладать благим и прекрасным, а желаем мы обладать тем, в чем испытываем нужду, чего не имеем), следовательно, он – не бог (боги прекрасны и блаженны), а нечто среднее между смертными и бессмертными – гений. Гении – связь между богами и людьми, благодаря им возможны таинства и прорицания. Эрот всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но оживает опять. Все, что Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, ни беден. Он находится также посередине между мудростью и невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры. Но не занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды. Занимаются философией те, кто находится посередине между мудростью и невежеством. Мудрость – это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот – это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом. Далее Диотима говорит:

«Во все эти таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократ. Что же касается высших и сокровеннейших, ради которых и существ-

вуют первые, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них. Сказать-то я скажу, а ты попытайся следовать за мной, насколько сможешь.

Кто хочет избрать верный путь, начинается с устремления к прекрасным телам в молодости. Полюбит сначала одно тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого, поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладает, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела, и, если ему попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет вполне доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему невольно постигнет красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это прекрасное родственно между собою, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам, и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо привлекательности, плененным красотой одного какого-то мальчишки, человека или характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая ее в неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли, пока наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того единственного знания, которое касается Прекрасного, и вот какого Прекрасного... Достигший конца этого пути вдруг увидит нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, ради чего и были предприняты все предшествующие труды, – нечто, во-первых вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное предстанет не в виде какого-то лица, тела, речи или знания, не в чем-либо другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны ему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает.

Вот таким путем нужно идти в любви – самому или под чьим-то руководством: начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх – от одного прекрасного тела к двум, от двух – ко всем, от прекрасных тел к прекрасным нравам и т.д. В созерцании прекрасного самого по себе только и может жить человек, его увидевший – чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, красками и всяким другим бременным вздором. Если бы это божественное, прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии, неужели человек, устремивший к нему взор, мог

бы жить жалкой жизнью? Лишь созерцая прекрасное тем, чем его надлежит созерцать, человек сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он истину, а не призрак. А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-нибудь из людей бывает бессмертен, то это он».

Вот что рассказала мне Диотима, и я ей верю. А в стремлении человека к такому делу вряд ли найдется лучший помощник, чем Эрот. Поэтому все должны чтить Эрота.

Когда Сократ кончил, все стали его хвалить. Вдруг в дверь застучали так громко, словно явилась целая ватага, и послышались звуки флейты. Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и кричал, требуя провести его к Агафону. Его провели вместе с флейтисткой, которая поддерживала его, и другими спутниками, и он, в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с множеством лент на голове, стал снимать с себя ленты, чтобы повязать ими Агафона. Усевшись рядом с Агафоном, Алкивиад поцеловал его и украсил повязками. Агафон сказал:

– Разуйте, слуги, Алкивиада, чтобы он возлег с нами третьим.

– С удовольствием, – сказал Алкивиад, – но кто наш третий сотрапезник?

И, обернувшись, он увидел Сократа, вскочил на ноги и воскликнул:

– О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты устроил мне засаду и здесь. Такая уж у тебя привычка – внезапно появляться там, где тебя не предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился возлечь именно здесь, не рядом с Аристофаном или с кем-нибудь другим, а рядом с самым красивым из всех собравшихся?

Сократ сказал:

– Постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь этого человека стала для меня делом нешуточным. Мне нельзя ни взглянуть на красивого юношу, ни побеседовать с каким-нибудь красавцем, не вызывая неистовой ревности Алкивиада, который творит невесте что, ругает меня и доходит чуть ли не до рукоприкладства. Смотри же, как бы он и сейчас не натворил чего, помири нас.

– Нет, – сказал Алкивиад, – примирения между нами быть не может, за сегодняшнее я отплачу тебе в другой раз. А сейчас, Агафон, дай мне часть твоих повязок, мы украсим ими и эту удивительную голову, чтобы владетель ее не упрекал меня за то, что я тебя украсил, а его, который побеждал своими речами решительно всех, и притом не только позавчера, как ты, а всегда, его не украсил. И, взяв несколько лент, он украсил Сократа, расположился за столом и сказал:

– Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится.

– До твоего прихода, – ответил Эриксимах, – мы решили, что каждый из нас по очереди прославит Эрота, и мы все уже свое сказали. Ты же речи

не говорил, а выпить выпил, поэтому было бы справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся, дал любой наказ Сократу, а тот потом своему соседу справа, и так далее.

– Все это прекрасно, но пьяному не по силам тягаться в красноречии с трезвыми. А, кроме того, дорогой мой, неужели ты поверил всему, что Сократ сейчас наговорил? Что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз наоборот. Ведь это он, стоит лишь мне при нем похвалить не его, а кого-нибудь другого, бога ли, человека ли, сразу дает волю рукам.

– Молчал бы лучше, – сказал Сократ.

– Нет, что бы ты ни говорил, – возразил Алкивиад, – я никого не стану хвалить в твоём присутствии, клянусь Посейдоном.

– Ну что ж, – ответил Эриксимах, – в таком случае воздай хвалу Сократу.

– Хвалить, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем сравнений. Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь флейтой в руках. Если раскрыть такого силену, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия. Что ты сходен с силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам оспаривать не будешь. А что ты похож на них в остальном, об этом послушай. Тот завораживал людей силой своих уст, с помощью инструмента, ты же достигаешь того же самого без всяких инструментов, одними речами. Когда мы слушаем речь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас не волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены.

Что касается меня, то я, если бы не боялся показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодую на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, что мне казалось – нельзя больше жить так, как я живу. Да и сейчас, стоит мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим собой и занимаюсь делами афинян. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не заподозрил – чувство стыда. Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняюсь почестями,

которые оказывает мне большинство. Да, да, я пускаюсь от него наутек, удираю, а когда вижу его, мне совестно, потому что я ведь был с ним согласен. И порою мне даже хочется, чтобы его совсем не стало на свете, хотя, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку.

Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего-де ему не известно и ни в чем он не смыслит. Он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое изваяние силена. Да будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив человек или нет (вы даже себе не представляете, до какой степени это безразлично ему), богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами – ничто, но он этого не говорит, нет. Он всю свою жизнь морочит людей притворным самоуничижением.

Полагая, что он зарится на цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей: ведь благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услышать от него все, что он знает. Вот какого я был о своей красоте невероятного мнения. С такими-то мыслями я однажды и отпустил провожатого, без которого я до той поры ни разу не встречался с Сократом, и остался с ним с глазу на глаз.

Я ждал, что он вот-вот заговорит со мной так, как говорят влюбленные с теми, в кого они влюблены, и радовался заранее. Но ничего подобного не случилось: проведя со мной весь день в беседах, он удалился. После этого я пригласил его поупражняться вместе в гимнастике и упражнялся вместе с ним, надеясь тут чего-то добиться. И, упражняясь, он часто борлся со мной, когда никого поблизости не было. И что же? На том все и кончилось. И вот я приглашаю его поужинать со мной – ну прямо как влюбленный, готовящий ловушку любимому. Хотя и эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов принял мое приглашение. Когда он явился в первый раз, то после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, тогда отпустил его. Залучив его к себе во второй раз, я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда он собрался уходить, я сослался на поздний час и заставил его остаться.

Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не слышали бы от меня, если бы вино не было так правдиво.

– Ты спишь, Сократ? – спросил я.

– Нет еще.

– Ты знаешь, что я задумал? Мне кажется, что ты единственный достойный меня поклонник, и, по-моему, ты не решаешься со мной об этом заговорить. Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупо-

стью отказать тебе в этом: ведь я не отказал бы тебе, нуждайся ты в моем имуществе или друзьях. Для меня нет ничего важнее, чем достичь как можно большего совершенства, а тут, я думаю, мне никто не сумеет помочь лучше тебя.

На это он ответил с обычным своим лукавством:

– Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то, что ты сказал обо мне, – правда, и во мне действительно скрыта какая-то сила, которая способна сделать тебя благороднее, – то есть если ты усмотрел во мне какую-то удивительную красоту, совершенно отличную от твоей миловидности. Так вот, если, увидев ее, ты стараешься вступить со мною в общение и обменять красоту на красоту, значит, ты хочешь получить куда большую, чем я, выгоду, приобрести настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поистине выменять медь на золото. Но приглядишься ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще далеко.

Я встал, и, не дав ему ничего сказать, лег под его потертый плащ и, обеими руками обняв этого поистине божественного, удивительного человека, пролежал так всю ночь. И, несмотря на все мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, посмеялся над ней. А я думал, что она хоть что-то да значит. Проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или старшим братом. В каком я был, по-вашему, после этого расположении духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой – восхищался характером, благодарным и мужественным поведением этого человека, равного которому по силе ума и самообладанию я никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами ещё невозможнее, чем ранить Аякса мечом, а когда я пустил в ход то, на чем единственно надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и растерян, он покорил меня так, как никто никогда не покорял.

Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на Потидею и вместе там столоваться. Начну с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато когда всего было вдоволь, он один бывал способен всем насладиться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и никто никогда не видел его пьяным. Это, кстати сказать, и сейчас подтвердится. Точно так же и зимний холод – а зимы там жестокие – он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо не выходили на-

ружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними.

Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте. Наступил полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы – дело было летом – вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета, а потом, помолвившись Солнцу, ушел.

А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили, спас меня не кто иной, как Сократ: он вынес меня, раненого, с поля боя, и мое оружие. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить мне, а ты сам еще сильнее, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя.

Особенно же стоило посмотреть на Сократа, когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от Делия. Я был тогда в коннице, а он в тяжелой пехоте. Он уходил вместе с Лахетом. Насколько было у него больше самообладания, чем у Лахета! Кроме того, мне казалось, что и там он шагал чинно, спокойно посматривая на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому оба они благополучно завершили отход. Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки.

Сократ и в повадке своей, и в речах настолько своеобразен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнить его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами – и его самого, и его речи.

Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи его похожи на раскрывающихся силенов. Если послушать его, то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца сатира. На языке у него вечно какие-то вяжущие ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одно и то же, и поэтому всякий недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что эти речи божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства.

Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья, и в упрек ему, поскольку попутно я рассказал вам, как он меня обидел. Обошелся он так, впрочем, не только со мной, но и с Хармидом, сыном Главкона, и с Евтидемом, сыном Диокла, и со многими другими: обманывая их, он ведет себя сначала как их поклонник, а потом сам становится скорее предметом любви, чем поклонником. Советую и тебе, Агафон, не попадаться ему на удочку, а, зная наш опыт, быть начеку, чтобы не подтвердить поговорки: «Горьким опытом дитя учится».

Когда Алкивиад кончил, все посмеялись по поводу его откровенных признаний, потому что он все еще, казалось, был влюблен в Сократа. А Сократ сказал:

– Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. Иначе бы так хитро не крутился вокруг да около, чтобы затемнить то, ради чего ты все это говорил и о чем как бы невзначай упомянул в конце, словно всю свою речь ты произнес не для того, чтобы посеять рознь между мною и Агафоном, считая, что я должен любить тебя и никого больше, а Агафона – ты и больше никто. Но хитрость эта тебе не удалась, смысл твоей сатиросиленовской драмы яснее ясного. Так не дай же ему, дорогой Агафон, добиться своего, смотри, чтобы нас с тобой никто не поспорил.

– Пожалуй, ты прав, Сократ, – сказал Агафон. – Наверное, он для того и возлег между мной и тобой, чтобы нас разлучить. Так вот, назло ему, я пройду к тебе и возьмю рядом с тобой.

– Конечно, – отвечал Сократ, – располагайся вот здесь.

– О Зевс! – воскликнул Алкивиад. – Как он опять со мной обращается! Он считает своим долгом всегда меня побивать. Но пусть тогда Агафон возляжет хотя бы уж между нами, поразительный ты человек!

– Нет, так не выйдет, – сказал Сократ. – Ведь ты же произнес похвальное слово мне, а я в свою очередь должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется воздавать мне хвалу во второй раз, не услышав моего похвального слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому юноше, когда я буду хвалить его. А мне очень хочется произнести в его честь похвальное слово.

– Увы, Алкивиад! – воскликнул Агафон. – Остаться здесь мне никак нельзя, теперь-то я уж непременно пересяду, чтобы Сократ произнес в мою честь похвальное слово.

– Обычное дело, – сказал Алкивиад. – Где Сократ, там другой на красавца лучше не зарься. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя.

... Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли, а Аристомем уснул и проспал очень долго, тем более что ночи были тогда длинные. Проснулся он на рассвете, когда уже пели петухи, а проснувшись, увидел, что одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще только Агафон, Ари-



стофан и Сократ, которые пьют из большой чаши, передавая ее по кругу справа налево, причем Сократ ведет с ними беседу. Обоих клонило ко сну; сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже совсем рассвело, Агафон.

Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а Аристомем, по своему обыкновению, за ним последовал. Придя в Ликей и умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть.

### Речь Сократа из диалога «Федр»

Величайшие для нас блага возникают от неистовства, правда, когда оно уделяется нам как божий дар. Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне в состоянии неистовства сделали много хорошего для Эллады – и отдельным лицам и всему народу, а будучи в здравом рассудке, – мало или вовсе ничего. И если мы стали бы говорить о Сивилле и других, кто с помощью божественного дара прорицания множеством предсказаний многих направил на верный путь, мы бы потратили много слов на то, что всякому ясно и так. Но вот на что стоит сослаться: те из древних, кто устанавливал значения слов, не считал неистовство безобразием или позором. Насколько прорицание совершеннее и ценнее гадания о будущем, когда люди, находящиеся в полном рассудке, производят его по птицам и другим знаменьям, настолько же, по свидетельству древних, неистовство, которое у людей от бога, прекраснее рассудительности, свойства человеческого.

Избавление от болезней, от крайних бедствий, от тяготившего издревле гнева богов бывало найдено благодаря неистовству, появившемуся откуда-то в некоторых семействах и дававшему прорицания, кому это требовалось. Неистовство разрешалось в молитвах богам и служении им, и человек, охваченный им, удаивался очищения и посвящения в таинства, становясь неприкосновенным на все времена для окружающих зол, освобождение от которых доставалось подлинно неистовым и одержимым.

Другой вид одержимости и неистовства от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает её, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчётное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот ещё далёк от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых.

Вот сколько – и ещё больше – могу я привести примеров прекрасного действия неистовства, даруемого богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом.

Пусть себе торжествуют победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюблённому и возлюбленному ниспосылается богами любовь, – нам надлежит доказать, наоборот, что подобное неистовство боги даруют для высочайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего надо вникнуть в подлинную природу божественной и человеческой души, рассмотрев её состояния и действия. Начало же доказательства следующее.

Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестаёт и двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется. Начало же не имеет возникновения. Из начала необходимо возникает всё возникающее, а само оно ни из чего не возникает. Если бы начало возникло из чего-либо, оно уже не было бы началом. Так как оно не имеет возникновения, то, конечно, оно и неуничтожимо. Если бы погибло начало, оно никогда не могло бы возникнуть из чего-либо, да и другое из него, так как всё должно возникать из начала. Значит, начало движения – это то, что движет само себя. Оно не может ни погибнуть, ни возникнуть, иначе бы всё небо и вся Земля, обрушившись, остановились и уже неоткуда было бы взяться тому, что, придав им движение, привело бы к их новому возникновению.

Раз выяснилось, что бессмертно всё движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же самое о сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, – неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, – одушевлено, потому что такова природа души. Если это так и то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна.

О её бессмертии достаточно этого. А об её идее надо сказать вот что: какова она – это всячески требует божественного и пространного изложения, а чему она подобна – это поддается и человеческому, более сжатому; так мы и будем говорить.

Уподобим душу соединённой силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель правит упряжкой, а затем, и кони-то у него – один прекрасен, благороден и рождён от таких же коней, а другой конь – его противоположность и предки его – иные. Неизбежно, что править нами – дело тяжкое и докучное.

Попробуем сказать и о том, как произошло название смертного и бессмертного существа. Всякая душа ведает всем неодушевлённым, распространяется же она по всему небу, принимая порой разные образы. Будучи

совершенной и окрылённой, она парит в вышине и правит миром, если же она теряет крылья, то носится, пока не натолкнется на что-нибудь твёрдое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело, которое благодаря её силе кажется движущимся само собой; всё вместе, то есть сопряжение души и тела, получило прозвание смертного.

О бессмертном же нельзя судить лишь по одному этому слову. Не видав и мысленно не постигнув в достаточной мере бога, мы рисуем себе некое бессмертное существо, имеющее душу, имеющее и тело, причём они нераздельны на вечные времена. Впрочем, тут, как угодно богу, так пусть и будет и так пусть считается.

Мы же коснёмся причины утраты крыльев, почему они отпадают у души. Причина здесь, видимо, такая: крылу от природы свойственна способность поднимать тяжёлое в высоту, туда, где обитает род богов. А из всего, что связано с телом, душа больше всего приобщилась к божественному – божественное же прекрасно, мудро, доблестно и так далее; этим вскармливаются и возвращаются крылья души, а от всего противоположного – от безобразного, дурного – она чахнет и гибнет.

Великий предводитель в небе Зевс, на крылатой колеснице едет первым, всё упорядочивая и обо всём заботясь. За ним следует воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать отрядов; одна только Гестия не покидает дома богов, а из остальных все главные боги, что входят в число двенадцати, предводительствуют каждый порученным ему строем.

В пределах неба есть много блаженных зрелищ и путей, которыми движется счастливый род богов; каждый из них свершает своё, а за ними следует всегда тот, кто хочет и может, – ведь зависть чужда сонму богов.

Отправляясь на праздничный пир, они поднимаются к вершине по краю поднебесного свода, и уже там их колесницы, не теряющие равновесия и хорошо управляемые, легко совершают путь; зато остальные двигаются с трудом, потому что конь, причастный злу, всей тяжестью тянет к земле и удручает своего возничего, если тот плохо его вырастил. От этого душе приходится мучиться и напрягаться.

Души, называемые бессмертными, когда достигнут вершины, выходят наружу и останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несёт их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба.

Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никто и не воспёт по достоинству. Она же вот какова (ведь надо, наконец, осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает неосязаемая сущность без очертаний, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму; на неё-то и направлен истинный род знания.

Мысль бога питается умом и чистым знанием, как и мысль всякой души, которая стремится воспринять надлежащее, узрев подлинное бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, питается созерцанием истины и блаженст-

вует, пока небесный свод не перенесёт её по кругу опять на то же место. При этом кругообороте она созерцает самое справедливое, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Насладившись созерцанием всего того, что есть подлинное бытие, душа снова спускается во внутреннюю область неба и приходит домой. По её возвращении возничий ставит коней к яслям, задаёт им амброзии и вдобавок поит нектаром.

Такова жизнь богов. Что же до остальных душ, то у той, которая всего лучше последовала богу и уподобилась ему, голова возничего поднимается в занебесную область и несётся в круговом движении по небесному своду; но ей не дают покоя кони, и она с трудом созерцает бытие. Другая душа то поднимается, то опускается – кони рвут так сильно, что она одно видит, а другое нет. Вслед за ними остальные души жадно стремятся вверх, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаются опередить одна другую. И вот возникает смятение, борьба, от напряжения их бросает в пот. Возниким с ними не справиться, многие калечатся, у многих часто ломаются крылья. Несмотря на крайние усилия, всем им не достичь созерцания подлинного бытия, и, отойдя, они довольствуются мнимым пропитанием.

Но ради чего так стараются узреть поле истины, увидеть, где оно? Да ведь как раз там, на лугах, пастбище для лучшей стороны души, а природа крыла, поднимающего душу, этим и питается. Закон же Адрастеи таков: душа, ставшая спутницей бога и увидевшая хоть частицу истины, будет благополучна вплоть до следующего кругооборота, и, если она в состоянии совершать это всегда, она всегда будет невредимой. Когда же она не будет в силах сопутствовать и видеть, но, постигнутая какой-нибудь случайностью, исполнится забвения и зла и отяжелет, а отяжелев, утратит крылья и падёт на землю, тогда есть закон, что при первом рождении не вселялась она ни в какое животное. Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья – в плод государственного деятеля, хозяина, добытчика; четвёртая – в плод человека, усердно занимающегося упражнением или врачеванием тела; пятая по порядку будет вести жизнь прорицателя или человека, причастного к тайнствам; шестой пристанет подвизаться в поэзии или другой какой-либо области подражания; седьмой – быть ремесленником или земледельцем; восьмая будет софистом или демагогом; девятая – тираном. Во всех этих призваниях тот, кто проживёт, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто её нарушит – худшую.

Но туда, откуда она пришла, никакая душа не возвращается в продолжение десяти тысяч лет – ведь она не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюблённостью в юношей: эти души окрыляются за три тысячетных круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни, и на трёхтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедши в подземные темницы. Другие же, кого Дике (Истина) облегчила от груза и подняла в некую область неба, ведут жизнь соответственно той, какую они прожили в человеческом образе. На тысячный год и те и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь – кто какую захочет. Тут человеческая душа может получить и жизнь животного, а из того животного, что было когда-то человеком, душа может снова вселиться в человека; но душа, никогда не выдавшая истины, не примет такого образа, ведь человек должен постигать её в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем божествен бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным. И так как он стоит вне человеческой суеты и обращён к божественному, большинство, конечно, станет увещавать его, как помешанного, – ведь его иступленность скрыта от большинства.

Вот к чему пришло все наше рассуждение: когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь; но, ещё не набрав сил, он подобие птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, – это и есть причина его неистового состояния. Из всех видов иступленности эта – наилучшая уже по самому своему происхождению, как для обладающего ею, так и для того, кто её с ним разделяет. Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюблённым. Ведь, как уже сказано, всякая человеческая душа по своей природе бывала созерцательницей бытия, иначе она не вселилась бы в это живое существо.

Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, нелегко любой душе: одни лишь короткое время созерцали тогда то, что там; другие, упав сюда, обратились под чужим воздействием к неправде и на своё несчастье забыли всё священное, виденное ими раньше. Мало остаётся таких душ, у которых достаточно сильна память. Они всякий раз, как увидят что-нибудь, подобное тому, что было там, бывают поражены и уже не вла-

деют собой, а что это за состояние, они не знают, потому что недостаточно в нём разбираются. В здешних подобиях нет вовсе отблеска справедливости, воздержности и всего другого, ценного для души, но, подходя к этим изображениям, кое-кому, пусть и очень немногим, всё же удаётся, хотя и с трудом, разглядеть при помощи наших несовершенных органов, к какому роду относится то, что изображено.

Сияющую красоту можно было видеть тогда, когда мы вместе со счастливым сонмом видели блаженное зрелище, одни – следуя за Зевсом, а другие – за кем-нибудь другим из богов, и приобщались к таинствам, которые можно по праву назвать самыми блаженными и которые мы совершали, будучи сами ещё непорочными и не испытавшими зла, ожидавшего нас впоследствии. Допущенные к видениям непорочным, простым и счастливым, мы созерцали их в свете чистом, чистые сами и ещё не отмеченные, словно надгробием, той оболочкой, которую мы теперь называем телом и которую не можем сбросить, как улитка – свой домик.

Благодаря памяти возникает тоска о том, что было тогда, вот почему мы сейчас подробно говорили об этом. Как мы и сказали, красота сияла среди всего, что там было; когда же мы пришли сюда, мы стали воспринимать её сияние всего отчётливее посредством самого отчётливого из чувств нашего тела – зрения, ведь оно самое острое из них. Но разумение недоступно зрению, иначе разумение возбудило бы необычайную любовь, если бы какой-нибудь отчётливый его образ оказался доступен зрению; точно так же и всё остальное, что заслуживает любви. Только одной красоте выпало на долю быть наиболее зримой и привлекательной. Человек, очень давно посвящённый в таинства или испорченный, не слишком сильно стремится отсюда туда, к красоте самой по себе: он видит здесь то, что носит одинаковое с нею название, так что при взгляде на это он не испытывает благоговения, но, преданный наслаждению, пытается, как четвероногое животное, покрыть и оплодотворить; он не боится наглого обращения и не стыдится гнаться за противоестественным наслаждением. Между тем человек, только что посвящённый в таинства, много созерцавший тогда всё, что там было, при виде божественного лица, хорошо воспроизводящего ту красоту или некую идею тела, сперва испытывает трепет, на него находит какой-то страх, вроде как было с ним и тогда; затем он смотрит на него с благоговением, как на бога, и, если бы не боялся прослыть совсем неистовым, он стал бы совершать жертвоприношения своему любимцу, словно кумиру или богу. А стоит тому на него взглянуть, как он сразу меняется, он как в лихорадке, его бросает в пот и в необычный жар.

Восприняв глазами истечение красоты, он согревается, а этим укрепляется природа крыла: от тепла размягчается вокруг ростка всё, что ранее затвердело от сухости и мешало росту; благодаря притоку питания, стержень перьев набухает, и они начинают быстро расти от корня по всей

душе – ведь она вся была искони пернатой. Пока это происходит, душа вся кипит и рвётся наружу. Когда прорезываются зубы, бывает зуд и раздражение в дёснах – точно такое же состояние испытывает душа при начале роста крыльев: она вскипает и при этом испытывает раздражение и зуд, рождая крылья.

Глядя на красоту юноши, она принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы – недаром это называют влечением: впитывая их, она согревается, избавляется от муки и радуется. Когда же она вдалеке от него, она сохнет: отверстия проходов, по которым пробиваются перья, ссыхаются, закрываются, и ростки перьев оказываются взаперти. Запертые внутри вместе с влечением, они трут и колют, ища себе выхода – каждый росток отдельно для себя, – так что душа, вся изнутри исколотая, мучается, но всё же, храня память о прекрасном, радуется.

Странность такого смешения её терзает, в недоумении она неистовствует, и от исступления не может она ни спать ночью, ни днём оставаться на одном месте. В тоске бежит она туда, где думает увидеть обладателя красоты. При виде его влечение разливается по ней, и то, что было ранее заперто, раскрывается: для души это передышка, когда прекращаются уколы и муки, в это время вкушает она сладчайшее удовольствие. По доброй воле она никогда от него не откажется, её красавец для неё дороже всех; тут забывают и о матерях, и о братьях, и о всех приятелях, и потеря – по нерадению – состояния ей также нипочём. Презрев все обычаи и приличия, соблюдением которых щеголяла прежде, она готова рабски служить своему желанному и валяться где попало, лишь бы поближе к нему ведь помимо благоговения перед обладателем красоты она обрела в нём единственного исцелителя величайших страданий.

Кто-то из гомеридов приводит из отвергаемых песен два стиха об Эроте, причём один из них очень дерзкий и не слишком складный; поют же их так:

*Смертные все прозвали его Эротом крылатым,  
Боги же – Птеротом, за то, что расти заставляет он крылья.*

Этому можно верить, можно и не верить. Как бы то ни было, но причина такого состояния влюблённых именно в этом.

В начале этой речи мы каждую душу разделили на три вида: две части её мы уподобили коням по виду, третью – возничему. Пусть и сейчас это будет так. Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, масть белая, он черноокий, любит почёт, но при этом рассудителен и совестьлив; он друг истинного мнения, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой – горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, чёр-

ной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг ушей он глухой и еле повинуется бичу и стрекалам.

Когда перед взором возничего предстаёт нечто достойное любви, чувство горячит ему всю душу и его терзают зуд и жала возбуждения, тот конь, что послушен возничему, одолеваемый своей обычной стыдливостью, сдерживает свой бег, чтобы не наскочить на любимого. А другого коня возничему уже не свернуть ни стрекалом, ни бичом: он вскачь несётся изо всех сил. С ним мучение и его сотоварищу по упряжке, и возничему, он принуждает их приступить к любимцу с намёками на соблазнительность любовных утех. Оба они сперва сопротивляются, негодуя, потому что их принуждают к ужасным и незаконным делам. В конце же концов, так как беде нет предела, они поддаются туда, куда он их тянет, уступают и соглашаются выполнить его веления.

Вот они уже близко от любимого и видят его сверкающий взор. При взгляде на него память возничего несётся к природе красоты и снова видит её, воздвигающуюся на чистом и священном престоле, а увидев, устрашается, от благоговейного стыда падает навзничь и тем самым неизбежно натягивает вожжи так сильно, что оба коня заваливаются назад – один охотно, так как он не противится, но другой, наглый, – против воли. Отпрянув назад, один конь от стыда и потрясения в душе обливается потом, а другой, чуть стихнет боль от узды и падения, едва переведя дух, начинает в гнев браниться, поносить и возничего, и сотоварища по упряжке за то, что те из трусости покинули строй вопреки уговору. И снова он принуждает их подойти против воли и с трудом уступает их просьбам отложить это до другого раза.

С наступлением назначенного срока он напоминает им об этом, а они делают вид, будто забыли. Он пускает в ход силу, ржёт, тащит, принуждая приступить к любимцу с теми же речами. Чуть только они приблизятся к нему, он изгибается, вытягивает хвост и, закусив удила, бесстыдно тянет вперёд.

Возничий, ещё более испытывая прежнее состояние, откидывается назад, словно от бегового барьера, изо всех сил натягивает узду между зубами наглого коня, в кровь ранит его злоречивый его язык и челюсти, пригнетая его голени и бедра к земле и причиняя ему боль. После того как дурной конь часто испытает это же самое и отбросит наглость, он смиренно следует намерениям своего возничего и при виде красавца погибает от страха. Тогда и получается, что душа влюблённого следует за любимцем со стыдом и боязнью. Тот, кто не прикидывается влюблённым, а подлинно это переживает, чтит его всячески как богоравного. Юноша постепенно сближается с влюблённым, соприкасаясь с ним в гимназиях и в других собраниях, и тогда поток того истечения, которое Зевс, влюблённый в Ганимеда, назвал влечением, обильно изливаясь на влюблённого, частью про-

никает в него, а частью, когда он уже переполнен, вытекает наружу. Как дуновение или звук, отражённые гладкой и твёрдой поверхностью, снова несутся туда, откуда они исходили, так и поток красоты снова возвращается в красавца чрез очи, то есть тем путём, по которому ему свойственно проникать в душу, теперь уже окрылённую; он орошает проходы крыльев, вызывает их рост и наполняет любовью душу возлюбленного.

Он любит, но не знает, что именно. Он не понимает своего состояния и не умеет его выразить; наподобие заразившегося от другого глазной болезнью, он не может найти её причину – от него утаилось, что во влюблённом, словно в зеркале, он видит самого себя; когда тот здесь, у возлюбленного, как и у него самого, утихает боль, когда его нет, возлюбленный тоскует по влюблённому так же, как тот по нему: у юноши это всего лишь подобие, отображение любви, называет же он это, да и считает, не любовью, а дружбой. Как и у влюблённого, у него тоже возникает желание – только более слабое – видеть, прикасаться, целовать, лежать вместе, и в скором времени он, естественно, так и поступает.

Если победят лучшие духовные задатки человека, его склонность к порядку в жизни и к философии, то влюблённый и его любимец блаженно проводят здешнюю жизнь в единомыслии, владея собой и не нарушая скромности, поработив то, из-за чего возникает испорченность души, и дав свободу тому, что ведёт к добродетели. После смерти, став крылатыми и лёгкими, они одерживают победу в одном из трёх поистине олимпийских состязаний, а большего блага не может дать человеку ни человеческий здравый смысл, ни божественное неистовство.

Если же они будут вести более грубую жизнь, чуждую философии и исполненную честолюбия, тогда, возможно, их безудержные кони, застав души врасплох – в минуту ли опьянения или просто беззаботности, – сведут их вместе и заставят их свершить то, что превозносится большинством как самый блаженный удел. А свершив это, они и впредь будут к этому прибегать, хотя и нечасто, потому что это не согласуется с их общим духовным складом. Они тоже дружны, хотя и не так, как те, первые, и не расстаются не только пока влюблены, но и тогда, когда это пройдет, считая, что раз они дали друг другу величайшие клятвы в верности, их уже нельзя нарушать и идти на ссору. При кончине, они, хотя и бескрылые, покидают тело, уже полные стремления окрылиться, так что они тоже получают немалую награду за своё любовное неистовство. Ведь нет такого закона, чтобы сходили во мрак те, кто уже вступил на путь поднебесного странствия, – напротив, им назначена светлая жизнь и дано быть счастливыми, вместе странствовать и благодаря любви стать одинаково окрылёнными, когда придёт срок.

Вот сколько божественных даров даёт дружба влюблённого. А близость с человеком, в тебя не влюблённым, разбавленная здравым смыслом

смертных, руководствующаяся расчётливостью, порождающая в душе милого низменный образ мыслей, восхваляемый большинством как добродетель, приведёт только к тому, что душа будет девять тысяч лет бессмысленно слоняться по земле и под землёй.

...Неистовство бывает двух видов: одно – следствие человеческих заболеваний, другое же – божественного отклонения от того, что обычно принято. Божественное неистовство, исходящее от четырёх богов, мы разделили на четыре части: вдохновенное прорицание мы возвели к Аполлону, посвящение в таинства – к Дионису, творческое неистовство – к Музам, четвёртую же часть к Афродите и Эроту – и утверждали, что любовное неистовство всех лучше.

*О ПИСЬМЕННОСТИ...* По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много высказал Тевту хорошего и дурного, но это было бы слишком долго рассказывать. Когда же дошёл черёд до письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой – судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашёл средство не для памяти, а для припоминания. Ты даёшь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, – оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

Рассказывали же жрецы Зевса Додонского, что слова дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времён, – ведь они не были так умны, как вы, нынешние, – было довольно, по их простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду. А сейчас для людей важно, кто это говорит и откуда он, ведь они смотрят не только на то, так ли всё на самом деле или иначе.

## Апология Сократа

## После обвинительных речей

Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали.

Я постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости. И вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах. Ведь вы знаете Херефонта. Приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с вопросом, есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня, и Пифия ему ответила, что никого нет мудрее.

Услышав это, стал я размышлять сам с собою таким образом: что бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать: не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я скорее всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку да побеседовал с ним, то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидел то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие.

Те, что пользуются самой большой славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, — более им одаренными. После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я невежествен-

нее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в иступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что вследствие своего поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.

Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю, ну а уж про этих а мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоняла собою ту мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел, оставаться ли мне так, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что для меня выгоднее оставаться как есть.

Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели, отчего произошло и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость. Я и теперь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не покажется ли мне кто-нибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как только мне это не кажется, спешу поддержать бога и показываю этому человеку, что он не мудр. И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что-нибудь достойное упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности.

Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, у которых всего больше досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принимаясь пытать других; ну и я полагаю, что они находят многое множество таких, которые думают, что они что-то знают, а на деле ничего не знают или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей.

Теперь я постараюсь защищаться против Мелета и против остальных обвинителей. Сократ, говорят они, преступает закон тем, что развращает молодых людей и не признает богов, которых признает город, а признает другие, новые божественные знамения. Таково именно обвинение; рассмотрим же каждое слово этого обвинения отдельно.

Мелет, скажи нам, ради Зевса: что приятнее, жить ли с хорошими гражданами или с дурными? Ну, друг, отвечай! Я ведь не спрашиваю ничего трудного. Не причиняют ли дурные какого-нибудь зла тем, которые всегда с ними в самых близких отношениях, а добрые – какого-нибудь добра?

– Конечно.

– Так найдется ли кто-нибудь, кто желал бы скорее получать от ближних вред, чем пользу? Отвечай, добрейший, ведь и закон повелевает отвечать. Существует ли кто-нибудь, кто желал бы получать вред?

– Конечно, нет.

– Ну вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей намеренно или ненамеренно? Который портит намеренно.

– Как же это так, Мелет? Ты, такой молодой, настолько мудрее меня, что тебе уже известно, что злые причиняют своим ближним какое-нибудь зло, а добрые – добро, а я, такой старей, до того невежествен, что не знаю даже, что если я кого-нибудь из близких сделаю негодным, то должен опасаться от него какого-нибудь зла, и вот такое-то великое зло я добровольно на себя навлекаю, как ты утверждаешь! В этом я тебе не поверю, Мелет, да и никто другой, я думаю, не поверит. Но или я не порчу, или если порчу, то ненамеренно; таким образом, у тебя-то выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу ненамеренно, то за такие невольные проступки не следует по закону приходить сюда, а следует, обратившись частным образом, учить и наставлять; потому, ясное дело, что, уразумевши, я перестану делать то, что делаю ненамеренно. Ты же меня избегал и не хотел научить, а привел меня сюда, куда по закону следует приводить тех, которые имеют нужду в наказании, а не в научении.

Скажи, Мелет, каким образом, по-твоему, порчу я юношей? Не ясно ли, по обвинению, которое ты против меня подал, что я порчу их тем, что учу не почитать богов, которых почитает город, а почитать другие, новые

божественные знамения? Не это ли ты разумеешь, говоря, что своим учением я вружу?

– Вот именно это самое.

– Я не могу понять, что ты хочешь сказать; то ли, что некоторых богов я учу признавать, а следовательно, и сам признаю богов, так что я не совсем безбожник и не в этом мое преступление, а только я учу признавать не тех богов, которых признает город, а других, и в этом-то ты меня и обвиняешь, что я признаю других богов; или же ты утверждаешь, что я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.

– Я говорю, что ты вообще не признаешь богов.

– Это невероятно, Мелет, да, мне кажется, ты и сам этому не веришь. Что касается меня, о мужи афиняне, то мне кажется, что человек этот подал на меня эту жалобу просто по наглости и озорству да еще по молодости лет. Похоже, что он пробует: заметит ли Сократ, наш мудрец, что я шучу и противоречу сам себе, или мне удастся провести и его, и прочих слушателей? В своем обвинении он сам себе противоречит, все равно как если бы он сказал: Сократ нарушает закон тем, что не признает богов, а признает богов. Ведь это же шутка!

Есть ли, Мелет, на свете такой человек, который дела бы людские признавал, а людей не признавал? Скажите ему, о мужи, чтобы он отвечал, а не шумел бы то и дело. Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы лошадей не признавал, а все лошадиное признавал бы? Или: флейтистов бы не признавал, а игру на флейте признавал бы? Не существует такого, любезнейший! Есть ли на свете кто-нибудь, кто бы знамения божественные признавал, а гениев бы не признавал?

– Нет.

– Наконец-то! Как это хорошо, что они тебя заставили ответить! Итак, ты утверждаешь, что божественные знамения я признаю и научаю других признавать – новые или старые все равно, только уж самые-то божественные знамения признаю, как ты говоришь, и ты подтвердил это клятвою; а если я признаю божественные знамения, то мне уже никак невозможно не признавать гениев. Разве не так? Конечно, так. Принимаю, что ты согласен, если не отвечаешь. А не считаем ли мы гениев или богами, или детьми богов? Да или нет?

– Конечно, считаем.

– Итак, если гениев я признаю, как ты утверждаешь, а гении суть своего рода боги, то оно и выходит, что ты предлагаешь загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время что я признаю богов, потому что гениев-то я по крайней мере признаю. А с другой стороны, если гении вроде как побочные дети богов, от нимф или каких-то еще существ, как это и принято думать, то какой же человек, признавая божьих детей, не будет

признавать богов? Это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь признавал, что существуют мулы – лошадиные и ослиные дети, а что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Мелет, не может быть, чтобы ты подал это обвинение иначе, как желая испытать нас, или же ты недоумевал, в каком бы настоящем преступлении обвинить меня. А чтобы ты мог убедить кого-нибудь, у кого есть хоть немного ума, что один и тот же человек может и признавать и демоническое, и божественное и в то же время не признавать ни демонов, ни богов, это никоим образом невозможно.

Впрочем, о мужи афиняне, что я невиновен в том, в чем меня обвиняет Мелет, это, мне кажется, не требует дальнейших доказательств, довольно будет и сказанного. А что у многих явилось против меня сильное ожесточение, это, будьте уверены, истинная правда. И если что погубит меня, так именно это; не Мелет и не Анит, а клевета и недоброжелательство многих – то, что погубило уже немало честных людей, думаю, что и еще погубит. Не думайте, что дело на мне остановится!

Но пожалуй, кто-нибудь скажет: не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься таким делом, от которого, может быть, тебе придется теперь умереть? А на это я по справедливости могу возразить: нехорошо ты это говоришь, мой милый, будто человеку, который приносит хотя бы малую пользу, следует принимать в расчет смерть, а не думать всегда лишь о том, делает ли он дела справедливые или несправедливые, добрые дела или злые. Плохими, по твоему рассуждению, окажутся все те полубоги, которые пали под Троей, в том числе и сын Фетиды, который из страха сделать что-нибудь постыдное до того презирал опасность, что, когда мать его, богиня, видя, что он горит желанием убить Гектора, сказала ему, помнится, так: «Дитя мое, если ты отомстишь за убийство друга твоего Патрокла и убьешь Гектора, то сам умрешь: «Скоро за сыном Приама конец и тебе уготован», – он, услышав это, не посмотрел на смерть и опасность, а гораздо больше убоился оставаться в живых, будучи трусом. «Умереть бы, – говорит он, – мне тотчас, покарвав обидчика, только бы не оставаться еще здесь, у кораблей дуговидных, посмешищем для народа и бременем для земли». Кажется ли тебе, что он подумал при этом о смерти и об опасности? Где кто поставил себя, думая, что для него это самое лучшее место, или же поставлен начальником, там и должен переносить опасность, не принимая в расчет ни смерти, ни еще чего-нибудь.

Было бы ужасно, о мужи афиняне, если бы, после того как я оставался в строю, как и всякий другой, и подвергался опасности умереть тогда, когда меня ставили начальники, вами выбранные, – под Потидеей, Амфиполем и Делием, – если бы теперь, когда меня поставил сам бог, для того, думаю, чтобы мне жить, занимаясь философией, и испытывать самого себя и других, если бы теперь я испугался смерти или еще чего-нибудь и бежал из строя, это было бы ужасно, и тогда в самом деле можно было бы по

справедливости судить меня за то, что я не признаю богов, так как не слушаюсь оракула, боюсь смерти и считаю себя мудрым, не будучи таковым, потому что бояться смерти есть не что иное, как думать, что знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть величайшее из зол. Но не самое ли это позорное невежество – думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо – это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избегать того, что может оказаться и благом, более, чем того, что наверное есть зло. Так что если бы вы меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не занимался этим исследованием и оставил философию, а если еще раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, – так вот, говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам сказал: «Желать вам всякого добра – я желаю, о мужи афиняне, я люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об истине и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, не заботишься и не помышляешь?» И если кто из вас станет возражать и утверждать, что он об этом заботится, то я не оставляю его и не уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, пытаться, опровергать и, если мне покажется, что в нем нет доблести, а он только говорит, что есть, буду попрекать его за то, что он самое дорогое не ценит ни во что, а плохое ценит дороже всего. Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с молодым и старым, с чужеземцами и с вами, с вами особенно, потому что вы мне ближе по крови. Могу вас уверить, что так велит бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной. Да, если бы такими словами я развращал юношей, то слова эти были бы вредными. А кто утверждает, что я говорю что-нибудь другое, а не это, тот несет вздор. Вот почему и могу вам сказать, афиняне: послу-



шаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет – поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз.

Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу – не шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать; слушать вам будет полезно, как я думаю. Я намерен сказать вам и еще кое-что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать, только вы никоим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелета, ни от Анита, да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, он может убить, изгнать из отечества, отнять все права. Но ведь это он или еще кто-нибудь считает все подобное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я злом именно то, что он теперь делает, замышляя несправедливо осудить человека на смерть. Таким образом, о мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я такой как будто бы дан городу богом, это вы можете усмотреть вот из чего: похоже ли на что-нибудь человеческое, что я забросил все свои собственные дела и сколько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели. И если бы я от этого пользовался чем-нибудь и получал бы плату за эти наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь расчет, а то сами вы теперь видите, что мои обвинители, которые так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут по крайней мере оказались неспособными к бесстыдству и не представили свидетеля, который показал бы, что я когда-либо получал какую-нибудь плату или требовал ее; потому, думаю, что я могу представить верного свидетеля того, что я говорю правду, – мою бедность.

Может в таком случае показаться странным, что я подаю эти советы частным образом, обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы городу не решаюсь. Причина этому

та самая, о которой вы часто и повсюду от меня слышали, а именно что мне бывает какое-то чудесное божественное знамение; ведь над этим и Мелет посмеялся в своей жалобе. Началось у меня это с детства – какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься государственными делами.

И кажется, прекрасно делает, что не допускает. Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен.

Доказательства этого я вам представлю самые веские, не рассуждения, а то, что вы цените дороже, – дела. Итак, выслушайте, что со мною случилось, и тогда вы увидите, что я и под страхом смерти никого не могу послушаться вопреки справедливости, а не слушаясь, могу от этого погибнуть. То, что я намерен вам рассказать, досадно и скучно слушать, зато это истинная правда. Никогда, афиняне, не занимал я в городе никакой другой должности, но в Совете я был. И пришла нашей филе очередь заседать в то время, когда вы желали судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении, – судить незаконно, как вы сами признали это впоследствии. Тогда я единственный восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму и вы сами этого требовали и кричали, – в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмой или смертью быть заодно с вами, желающими несправедливого. Это еще было тогда, когда город управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и Тридцать в свою очередь призвали меня и еще четверых граждан в Круглую палату и велели нам привезти из Саламина саламинца Леонта, чтобы казнить его. Многие в этом роде приказывали они делать и многим другим, желая отыскать как можно больше виновных. Только и на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться – самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего незаконного и безбожного – это для меня самое важное.

Таким образом, как ни могущественно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать что-нибудь несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой палаты, четверо из нас отправи-

лись в Саламин и привезли Леонта, а я отправился домой. И по всей вероятности, мне пришлось бы за это умереть, если бы правительство не распалось в самом скором времени. И всему этому у вас найдется много свидетелей.

Кажется ли вам после этого, что я мог бы прожить столько лет, если бы занимался общественными делами, занимался бы притом достойно порядочного человека, спешил бы на помощь к правым и считал бы это самым важным, как оно и следует? Никоим образом, о мужи афиняне! И никому другому это не возможно. А я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, насколько в них участвовал, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, которых клеветники мои называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь. Да я и не был никогда ничьим учителем, а если кто, молодой или старый, желал меня слушать и видеть, как я делаю свое дело, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет; то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хороши ли эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать, потому что никогда из них никогда никакой науке я не учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего бы не слышали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду.

Но отчего же некоторые любят подолгу бывать со мною? Потому что они любят слушать, как я пытаю тех, которые считают себя мудрыми, не будучи таковыми. Это ведь не лишено удовольствия. А делать это, говорю я, поручено мне богом и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими способами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное определение и поручалось человеку делать что-нибудь.

Но об этом довольно, о мужи! Вот приблизительно то, что я могу так или иначе привести в свое оправдание.

Возможно, что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив о себе самом, как сам он, хотя дело его было и не так важно, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их как можно больше, приводил своих детей и множество других родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хотя подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опасности. Так вот возможно, что, подумав об этом, кто-нибудь не сочтет уже нужным стесняться со мною и, рассердившись, подаст в сердцах свой голос. Есть и у меня и родные, и сыновья, о мужи афиняне, целых трое, один уже взрослый, а двое – младенцы; тем не менее ни одного из них не приведу я сюда и не буду просить вас о помиловании. Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не по презрению к вам, о мужи афиняне. Для чести моей и вашей, для чести всего города, мне

кажется, было бы нехорошо, если бы я стал делать что-нибудь такое в мой год и при том прозвище, которое мне дано, верно оно или неверно – все равно. Как-никак, а ведь принято все-таки думать, что Сократ отличается кое-чем от большинства людей; а если так будут вести себя те из вас, которые, по-видимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще какою-нибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди, казалось бы, почтенные проделывали во время суда над ними удивительные вещи, как будто они думали, что им предстоит испытать что-то ужасное, если они умрут; можно было подумать, что они стали бы бессмертными, если бы вы их не убили! Мне кажется, эти люди позорят город, так что и какой-нибудь чужеземец может заподозрить, что у афинян люди, которые отличаются доблестью и которых они сами выбирают на главные государственные и прочие почетные должности, ничем не отличаются от женщин. Так вот, о мужи афиняне, не только нам, людям как бы то ни было почтенным, не следует этого делать, но и вам не следует этого позволять, если мы станем это делать, – напротив, вам нужно делать вид, что вы гораздо скорее признаете виновным того, кто устраивает эти слезные представления и навлекает насмешки над городом, нежели того, кто ведет себя спокойно.

Не говоря уже о чести, мне кажется, что это и неправильно, о мужи, просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд; и присягал он не в том, что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам.

#### После обвинительного приговора

Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас случилось, тем, что вы меня осудили, между прочим и то, что это не было для меня неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Что меня касается, то ведь я и не думал, что буду осужден столь малым числом голосов, я думал, что буду осужден большим числом голосов. Теперь же, как мне кажется, перепади тридцать один камешек с одной стороны на другую, и я был бы оправдан.

Ну а наказанием для меня Мелет полагает смерть. Хорошо. Какое же наказание, о мужи афиняне, должен я положить себе сам? Не ясно ли, что заслуженное? Так какое же? Чему по справедливости подвергнуться или сколько должен я уплатить за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устройении, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы руководить народом, считая себя слишком порядочным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во

всем этом; за то, что я не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своим раньше, чем о себе самом, – как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее. Итак, чего же я заслуживаю, будучи таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и бедного, который нуждается в досуге вашего же ради назидания? Для подобного человека нет ничего более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для того из вас, кто одержал победу в Олимпии, потому что такой человек старается не о том, чтобы вы были счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастливыми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. Итак, если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное, то вот я что себе назначаю – даровой обед в Пританее.

Может быть, вам кажется, что я и это говорю по высокомерию, как говорил о просьбах со слезами и с коленапреклонениями; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: убежденный в том, что я не обижаю ни одного человека, ни в каком случае не стану я обижать самого себя, говорить о себе самом, что я достоин чего-нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Из страха подвергнуться тому, чего требует для меня Мелет и о чем, повторяю еще раз, я не знаю, хорошо это или дурно? Так вот, вместо этого я выберу и назначу себе наказанием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, что это – зло? Вечное заточение? Но ради чего стал бы я жить в тюрьме? Денежную пеню и быть в заключении, пока не уплачу? Но для меня это то же, что вечное заточение, потому что мне не из чего уплатить. В таком случае не должен ли я назначить для себя изгнание? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, как бы от них отделаться; ну а другие легко их вынесут? Никким образом, афиняне.

В таком случае кто-нибудь может сказать: «Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен прожить спокойно и в молчании?» Вот в этом-то и всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле, если я скажу, что это значит не слушаться бога, а не слушаясь бога нельзя оставаться спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу; с другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем я беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и величайшее благо для человека, то поверите мне еще меньше. На деле-то оно как раз так, о мужи, как я это утверждаю, но убедить в этом нелегко. Да к

тому же я и не привык считать себя достойным чего-нибудь дурного. Будь у меня деньги, тогда бы я назначил уплатить деньги сколько полагается, в этом для меня не было бы никакого вреда, но ведь их же нет, разве если вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я вам могу уплатить мину серебра; ну, столько и назначаю.

### После смертного приговора

Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот от этого пойдет о вас дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас хулить, тот будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою; подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о мужи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить всё, чтобы уйти от наказания. Вовсе не так. Не хватить-то у меня, правда, не хватило, только не слов, а дерзости, и бесстыдства, и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать – все то, что вы привыкли слышать от других. Но и тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным делать из-за этого что-нибудь рабское, и теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом, и гораздо скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели оставаться живым, защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти всякими способами без разбора. Потому что и в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти-то можно иной раз уйти, или бросив оружие, или начавши умолять преследующих; много есть и других способов избежать смерти в случае какой-нибудь опасности для того, кто отважится делать и говорить все. От смерти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. И вот я, человек тихий и старый, достигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, люди сильные и проворные, – тем, что идет проворнее, – нравственную порчей. И вот я, осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и мне думается, что это правильно.

А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать, когда им предстоит умереть. И вот я

утверждаю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличителей – тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас.

А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал о самом этом происшествии, пока архонты заняты своим делом и мне нельзя еще идти туда, где я должен умереть. Побудьте пока со мною, о мужи! Ничто не мешает нам поболтать друг с другом, пока есть время. Вам, друзьям моим, я хочу показать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. Со мною, о мужи судьи, – вас-то я по справедливости могу называть судьями – случилось что-то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещей голос слышался мне постоянно и останавливал меня в случаях, когда я намеревался сделать что-нибудь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере, так принято думать; тем не менее божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время речи. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь поступка, от какого-нибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом.

А рассудим-ка еще вот как – велика ли надежда, что смерть есть благо? Умереть, говоря по правде, значит одно из двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом говорят. И если бы это было отсутствием всякого ощущения, все равно что сон, когда спят так, что даже ничего не видят во сне, то смерть была бы удивительным приобретением. Мне думается, в самом деле, что если бы кто-нибудь должен был ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, срав-

нить с остальными ночами и днями своей жизни и, подумав, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь нашел бы, что сосчитать такие дни и ночи сравнительно с остальными ничего не стоит. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и если правду говорят, будто бы там все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, о мужи судьи? В самом деле, если придешь в Аид, освободившись вот от этих так называемых судей, и найдешь там судей настоящих, тех, что, говорят, судят в Аиде, – Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема, и всех тех полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью, – разве это будет плохое переселение? А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Что меня касается, то я желаю умирать много раз, если все это правда, беседовать и жить вместе с ними было бы несказанным блаженством. Не может быть никакого сомнения, что уж там-то за это не убивают, потому что помимо всего прочего тамошние люди блаженнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертными, если верно то, что об этом говорят. Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного от смерти, и уж если что принимать за верное, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его делах; так вот и моя судьба устроилась не сама собою. Вот почему и знамение ни разу меня не удержало. К моим обвинителям я обращаюсь с такою маленькою просьбой: если, о мужи, вам будет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомстите им за то, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и воображают о себе невесть что, между тем как на самом деле ничтожны. И, делая это, вы накажете по справедливости не только моих сыновей, но и меня самого. Но вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бога.

### Критон

*Сократ.* Что это ты в такое время, Критон? Едва светает. Удивляюсь, как это сторож согласился впустить тебя.

*Критон.* Уж он меня знает, Сократ, потому что я часто сюда захожу; к тому же я и ублагодворил его.

*Сократ.* А ты сейчас только пришел или давно?

*Критон.* Довольно давно.

*Сократ.* Почему же ты не разбудил меня, а сидишь и молчишь?

*Критон.* Сохрани меня Зевс, Сократ! Я бы и сам не желал – в такой беде да еще не спать. На тебя же давно удивляюсь, глядя, как ты сладко спишь, и нарочно тебя не будил, чтобы тебе было как можно приятнее. Разумеется, мне и прежде, во время всей твоей жизни, нередко приходилось удивляться твоему нраву, но особенно я удивляюсь ему теперь, при этом несчастье, как ты его легко и терпеливо переносишь.

*Сократ.* Да ведь это было бы и нелепо, Критон, в мои годы – роптать на то, что приходится умереть.

*Критон.* И другим, Сократ, случается попадать на старости лет в такую беду, однако же старость нисколько не мешает им роптать на свою судьбу.

*Сократ.* Это правда. Но зачем же ты так рано пришел?

*Критон.* Я пришел с печальным известием, Сократ, печальным и тягостным не для тебя, как я вижу, а для меня и для всех твоих близких, – с известием, которое мне кажется непереносимым.

*Сократ.* С каким это? Уж не пришел ли с Делоса корабль, с приходом которого я должен умереть?

*Критон.* Прийти-то еще не пришел, но думается мне, что придет сегодня, и завтра, Сократ, тебе необходимо будет окончить жизнь.

*Сократ.* Да в добрый час, Критон! Если богам угодно так, пусть будет так. Только я не думаю, чтобы он пришел сегодня.

*Критон.* Из чего ты это заключаешь?

*Сократ.* Я тебе скажу. Ведь мне следует умереть на другой день после того, как придет корабль.

*Критон.* Так говорят ведающие этим.

*Сократ.* В таком случае я думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Закрываю я это из некоторого сна, который видел этой ночью незадолго перед тем, как проснуться, и, пожалуй, было кстати, что ты не разбудил меня.

*Критон.* А какой же это был сон?

*Сократ.* Мне казалось, что подошла ко мне какая-то прекрасная и величественная женщина в белых одеждах, позвала меня и сказала: «Сократ! В третий ты день, без сомнения, Фтии достигнешь холмистой<sup>1</sup>».

*Критон.* Какой странный сон, Сократ!

*Сократ.* А ведь смысл его как будто ясен, Критон.

*Критон.* Слишком, кажется. Но, дорогой мой Сократ, и теперь еще говорю тебе: послушайся ты меня и не отказывайся от своего спасения. Ведь меня, если ты умрешь, постигнет не одна беда: кроме того, что я лишусь друга, какого мне никогда и нигде больше не найти, еще многим из

тех, которые не близко знают нас с тобою, покажется, что я не позаботился спасти тебя, будучи в состоянии сделать это, если бы захотел истратить деньги. Ну а может ли быть хуже такой славы, когда о нас думают, что мы ценим деньги больше, чем друзей? Ведь большинство не поверит, что ты сам не захотел уйти отсюда, несмотря на наши старания.

*Сократ.* Но для чего же нам так заботиться о мнении большинства, мой милый Критон? Люди со смыслом, которых скорее стоит принимать в расчет, будут думать, что это случилось так, как это случилось.

*Критон.* Но ведь ты уже видишь, Сократ, что необходимо также заботиться и о мнении большинства. Теперь-то оно ясно, что большинство способно причинять не какое-нибудь маленькое, а пожалуй что и величайшее зло тому, кто перед ним оклеветан.

*Сократ.* О, если бы, Критон, большинство способно было делать величайшее зло, с тем чтобы быть способным и на величайшее добро! Хорошо бы это было! А то ведь оно не способно ни на то, ни на другое: оно не может сделать человека ни разумным, ни неразумным, а делает что попало.

*Критон.* Уж не боишься ли ты за меня и за прочих близких, что, если ты уйдешь отсюда, доносчики причинят нам неприятности за то, что мы тебя отсюда похитили, и что мы должны будем потерять наше состояние или даже подвергнуться, сверх того, еще чему-нибудь? Оставь это, справедливость требует, чтобы мы ради твоего спасения подверглись подобной опасности, а если понадобится, то и большей. Нет, послушайся ты меня и не делай иначе.

*Сократ.* Не этого одного я опасаясь, Критон.

*Критон.* Этого уж ты не бойся. Да и немного просят денег за то, чтобы спасти тебя и вывести отсюда. Ты же можешь вполне располагать своим имуществом, и я думаю, что его будет достаточно. Коли, наконец, заботясь обо мне, ты думаешь, что не нужно тратить моего имущества, то вот твои иноземные друзья, которые здесь, готовы за тебя заплатить; один уже и принес необходимые для этого деньги – Симмий Фиванец. То же самое готов сделать и Кебет, и еще очень многие. Не отказывайся от своего спасения; не смущайся тоже и тем, о чем ты говорил на суде, что, уйдя отсюда, ты не знал бы, на что себя употребить: и во многих других местах, куда бы ты ни пришел, тебя будут любить. А если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня там есть друзья, которые будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фессалии ни один человек не доставит тебе огорчения. А к тому же, Сократ, ты затеял, мне кажется, несправедливое дело – предавать самого себя, когда можешь спастись. Ведь ты добиваешься для себя того же самого, чего могли бы добиваться – да и добились уже – твои враги, желая погубить тебя. Мало того, мне кажется, что ты предаешь и своих собственных сыновей, оставляя их на произвол судьбы,

<sup>1</sup> Строка из «Одиссеи» Гомера, предсказание Одиссею о скором возвращении на родину.

между тем как мог бы и прокормить и воспитать их. В самом деле, или не нужно и заводить детей, или уж нести все заботы о них – кормить и воспитывать, а ты, мне кажется, выбираешь самое легкое; следует же тебе выбирать то, что выбирает человек добросовестный и мужественный, особенно если говоришь, что всю жизнь заботишься о добродетели. Что касается меня, то мне стыдно и за тебя, и за нас, твоих близких, если станут думать, что все это случилось с тобою по какой-то трусости с нашей стороны: и то, что дело поступило в суд, – ты явился, хотя мог и не являться, – и самый суд, как он происходил, и, наконец, эта нелепая развязка, как будто бы мы отступили по какой-то негодности и трусости с нашей стороны, ибо ни мы тебя не спасли, ни сам ты себя не спас, между тем как это было вполне возможно, если бы мы только на что-нибудь годились. Вот ты и смотри, Сократ, как бы все это не оказалось не только вредным, но и позорным для нас с тобою. Однако подумай; вернее, впрочем, что и думать-то уже некогда, а нужно решить, решение же может быть одно, потому что в следующую ночь все уже должно быть сделано, а если еще будем ждать, то уже ничего нельзя будет сделать. Но умоляю тебя всячески, Сократ, послушайся меня и ни в коем случае не поступай иначе.

*Сократ.* О милый Критон, твое усердие стоило бы дорогого, если бы оно было направлено верно, а иначе, чем оно больше, тем тяжелее. А потому следует обсудить, нужно ли нам это делать или нет. Убеждения, которые я высказывал прежде, я не могу отбросить и теперь, после того как случилось со мною это несчастье; я почитаю и уважаю то же самое, что и прежде, и если в настоящее время мы не найдем ничего лучшего, то можешь быть уверен, что я с тобою отнюдь не соглашусь, даже если бы все-таки большинство вздумало устрашать нас, как детей, еще большим количеством пугал, чем теперь, когда оно насылает на нас оковы, казни и лишение имущества. Не вернуться ли сначала к тому, о чем ты говорил, к вопросу о мнениях и посмотреть, хорошо ли говорили мы неоднократно, что на одни мнения следует обращать внимание, а на другие нет; или, может быть, это было хорошо сказано в то время, когда мне еще не нужно было умирать, ну а теперь уже стало ясно, что мы это так только говорили, а что по правде это были сущие пустяки? Посмотри же, правильно ли это, по-твоему, говорят люди, что не все человеческие мнения следует уважать. Как по-твоему? Не хорошо ли это говорят?

*Критон.* Хорошо.

*Сократ.* Но хорошие мнения – это мнения людей разумных, а дурные – неразумных?

*Критон.* Как же иначе?

*Сократ.* Ну а как мы решали такой вопрос: тот, кто занимается гимнастикой, обращает ли внимание на мнение, похвалу и порицание всякого или только одного, а именно врача или учителя гимнастики?

*Критон.* Только его одного.

*Сократ.* Стало быть, он должен вести себя, упражнять свое тело, ну и, разумеется, есть и пить так, как это кажется нужным одному – тому, кто к этому делу приставлен и понимает в нем, а не так, как кажется всем остальным.

*Критон.* Это верно.

*Сократ.* Хорошо. А если он будет ценить слова не этого одного, а большинства или тех, которые в этом понимают мало, то не потерпит ли он какого-нибудь зла?

*Критон.* Конечно, потерпит.

*Сократ.* Какое же это зло? Чего оно касается? Из того, что принадлежит послушнику, чего именно?

*Критон.* Очевидно, тела, ведь его оно и разрушает.

*Сократ.* Уж не так ли и в остальном, Критон? И относительно справедливого и несправедливого, доброго и злого – того самого, о чем мы теперь совещаемся, нужно ли нам относительно всего этого следовать мнению большинства или же мнению одного, если только есть такой, кто это понимает, и кого должно стыдиться и бояться больше, чем всех остальных, вместе взятых? Ведь если мы не последуем за ним, то мы испортим и уничтожим то самое, что от справедливости становится лучшим, а от несправедливости погибает, как мы и раньше это утверждали. Ну а стоит ли нам жить, когда разрушено то, чему несправедливость вредит, а справедливость бывает на пользу? Или, может быть, то, к чему относятся справедливость и несправедливость, – что бы это там ни было – мы ценим меньше, нежели тело?

*Критон.* никоим образом.

*Сократ.* А напротив, ценим больше?

*Критон.* Да, и много больше.

*Сократ.* Стало быть, уже не так-то должны мы заботиться о том, что скажет о нас большинство, мой милый, а должны заботиться о том, что скажет о нас тот, кто понимает, что справедливо и что несправедливо, – он один да еще сама истина. Таким образом, в твоём рассуждении неправильно, во-первых, то, что ты утверждаешь, будто мы должны заботиться о мнении большинства относительно справедливого, прекрасного, доброго и им противоположного. «Да, но ведь большинство, скажут на это, способно убивать нас».

*Критон.* Ты прав, Сократ, так могут сказать.

*Сократ.* Но, мой милейший, не знаю как тебе, а мне относительно этого рассуждения сдается, что подобное ему было у нас и раньше. Стоим ли мы еще за то, что всего больше нужно ценить не жизнь как таковую, а жизнь достойную?

*Критон.* Конечно, стоим.

*Сократ.* А что хорошее, прекрасное, справедливое, что все это одно и то же – стоим ли мы за это или не стоим?

*Критон.* Стоим.

*Сократ.* Так вот на основании того, в чем мы согласны, нам и следует рассмотреть, будет ли справедливо, если я буду стараться уйти отсюда вопреки воле афинян, или же это будет несправедливо, и если окажется, что справедливо, то попытаемся это сделать, а если нет, то оставим. Справедливо ли мы поступим, коли будем платить деньги и благодарить тех, которые меня отсюда выведут, или если будем сами выводить и сами выходить, или же, наоборот, делая все это, мы поистине нарушим справедливость; и если бы оказалось, что поступать таким образом – несправедливо, тогда бы уж не следовало беспокоиться о том, что, оставаясь здесь и ничего не делая, мы должны умереть или подвергнуться еще чему-нибудь, если уж иначе приходится нарушить справедливость.

*Критон.* Говорить-то, мне кажется, ты хорошо говоришь, но разберика, что нам следует делать, Сократ.

*Сократ.* Полагаем ли мы, что ни в каком случае не следует добровольно нарушать справедливость или что в одном случае следует, а в другом нет? Ее не следует нарушать, согласно или не согласно с этим большинство, пострадаем ли мы от этого больше или меньше, чем теперь, а уж нарушение справедливости во всяком случае вредно и постыдно для того, кто ее нарушает. Полагаем мы это или нет?

*Критон.* Полагаем.

*Сократ.* Значит, вопреки мнению большинства, нельзя и воздавать за несправедливость несправедливостью?

*Критон.* Очевидно, нет.

*Сократ.* А теперь вот что, Критон: делать зло – должно или нет?

*Критон.* Разумеется, не должно, Сократ.

*Сократ.* Ну а воздавать злом за зло, как этого требует большинство, справедливо или несправедливо?

*Критон.* никоим образом не справедливо.

*Сократ.* Стало быть, не должно ни воздавать за несправедливость несправедливостью, ни делать людям зло, даже если бы пришлось и пострадать от них как-нибудь. Только ты смотри, Критон, как бы не оказалось, что, соглашаясь с этим, ты соглашаешься вопреки общепринятому мнению, потому что так думают немногие. После этого я спрошу: ежели ты признал что-либо справедливым, нужно ли это исполнять или не нужно?

*Критон.* Нужно.

*Сократ.* Вот и смотри теперь: уходя отсюда без согласия города, не причиняем ли мы этим зло кому-нибудь, и если причиняем, то не тем ли, кому всего менее можно его причинять? И исполняем ли мы то, что признали справедливым, или нет?

*Критон.* Я не могу отвечать на твой вопрос, Сократ: я этого не понимаю.

*Сократ.* Если бы, в то время как мы собирались удрать отсюда – или как бы это там ни называлось, – если бы в это самое время пришли сюда Законы и Государство и, заступив нам дорогу, спросили: «Скажи-ка нам, Сократ, что это ты задумал делать? Не задумал ли ты этим самым делом, к которому приступаешь, погубить и нас, Законы, и все Государство, насколько это от тебя зависит? Или тебе кажется, что еще может стоять целым и невредимым то государство, в котором судебные приговоры не имеют силы, но по воле частных лиц становятся недействительными?» Что скажем мы на это, Критон? Или, может быть, мы возразим, что ведь это же город поступил с нами несправедливо и решил дело неправильно? Это мы, что ли, им скажем?

*Критон.* Разумеется это самое, Сократ!

*Сократ.* «Как же это так, – могут сказать Законы, – разве у нас с тобою, Сократ, был еще какой-нибудь договор кроме того, чтобы твердо стоять за судебные решения, которые вынесет город?» И если бы мы стали этому удивляться, то, вероятно, они сказали бы: «За какую нашу вину собираешься ты погубить нас и город? Не мы ли, во-первых, родили тебя, и не с нашего ли благословения отец твой получил себе в жены мать твою и произвел тебя на свет? Скажи: порицаешь ли ты что-нибудь в тех из нас, которые относятся к браку?». «Нет, не порицаю», – сказал бы я на это. «Но, может быть, ты порицаешь те, которые относятся к воспитанию и образованию, каковое ты и сам получил? Разве не хорошо распорядились те из нас, которые этим заправляют, требуя от твоего отца, чтобы он дал тебе мусическое и гимнастическое воспитание?». «Хорошо», – сказал бы я на это. «Ну вот и рассмотри, Сократ, – скажут, вероятно, Законы, – правду ли мы говорим, что ты задумал несправедливо то, что ты теперь с нами делаешь? В самом деле, мы, которые тебя и всех прочих граждан родили, вскормили, воспитали, наделили всевозможными благами, – в то же время мы предупреждаем каждого из афинян, после того как он занесен в гражданский список и познакомился с государственными делами и с нами, Законами, что если мы ему не нравимся, то ему предоставляется право взять свое имущество и идти, куда он хочет. О том же из вас, кто остается, зная, как мы судим в наших судах и ведем в городе прочие дела, о таком мы уже говорим, что он на деле согласился с нами исполнять то, что мы велим; а если он не слушается, то мы говорим, что он втройне нарушает справедливость: тем, что не повинуется нам, своим родителям, тем, что не повинуется нам, своим воспитателям, и тем, что, согласившись нам повиноваться, он и не повинуется нам и не вразумляет нас, когда мы делаем что-нибудь нехорошо, и хотя мы предлагаем, а не грубо повелеваем исполнять наши решения и даем ему на выбор одно из двух: или вразумлять нас, или исполнять – он не делает ни того, ни другого. Таким-то вот обвинением, го-

ворим мы, будешь подвергаться и ты, если сделаешь то, что у тебя на уме, и притом не меньше, а больше, чем все афиняне». А если бы я сказал: «Почему же?», то они, пожалуй, справедливо заметили бы, что ведь я-то крепче всех афинян условился с ними насчет этого. Они сказали бы: «У нас, Сократ, имеются великие доказательства тому, что тебе нравились и мы, и наш город, и никогда-то не выходил ты из города ни на праздник, ни еще куда бы то ни было, разве что однажды на Истм да еще на войну; и никогда не путешествовал, как прочие люди, с тебя было довольно нас и нашего города – вот до чего предпочитал ты нас и соглашался жить под нашим управлением; да и детьми обзавелся ты в нашем городе потому, что он тебе нравится. Наконец, если бы хотел, ты еще на суде мог бы потребовать для себя изгнания и сделал бы тогда с согласия города то самое, что задумал сделать теперь без его согласия. Но в то время ты напускал на себя благородство и как будто бы не смущался мыслию о смерти и говорил, что предпочитаешь смерть изгнанию, а теперь и слов этих не стыдишься, и на нас, на Законы, не смотришь, намереваясь нас уничтожить, и поступаешь ты так, как мог бы поступить самый негодный раб, намереваясь бежать вопреки обязательствам и договорам, которыми ты обязался жить под нашим управлением. Итак, правду ли мы говорим или неправду, утверждая, что ты согласился жить под нашим управлением?». Что мы скажем, мой милый Критон? Не согласимся ли мы?

*Критон.* Непременно, Сократ.

*Сократ.* «В таком случае, – могут они сказать, – не нарушаешь ли ты обязательства и договоры, которые ты с нами заключил без принуждения и не будучи обманутым и не за короткое время, но за целые семьдесят лет, в течение которых тебе можно было уйти, если бы мы тебе не нравились и если бы договоры эти казались тебе несправедливыми. А вот теперь ты отказываешься от наших условий?»

Подумай-ка, в самом деле: нарушив эти условия, что сделаешь ты хорошего? Если ты пойдешь в один из ближайших городов, в Фивы или Мегару, так как они оба, Сократ, управляются хорошими законами, то ты придешь туда врагом государственного порядка этих городов, и всякий, кому дорог его город, будет на тебя коситься, считая тебя разрушителем законов, и ты утвердишь за твоими судьями славу, будто бы они правильно решили дело. Но допустим, ты ушел бы дальше от этих мест и прибыл в Фессалию, к друзьям Критона; это точно, что беспорядок там и распушенность величайшие, и, вероятно, они с удовольствием стали бы слушать твой рассказ о том, как это было смешно, когда ты бежал из тюрьмы переряженный, надевши козлиную шкуру или еще что-нибудь, что надевают обыкновенно при побеге, и изменив свою наружность. А что ты, старый человек, которому, по всей вероятности, недолго осталось жить, решился так малодушно цепляться за жизнь, этого тебе никто не заметит? Может

быть, и не заметит, если ты никого не обидишь, а иначе, Сократ, ты услышишь много такого, чего вовсе и не заслужил. И вот будешь ты жить, заискивая у всякого рода людей, и ничего тебе не останется делать, кроме как наслаждаться едой, все равно как если бы ты отправился в Фессалию на ужин. А беседы о справедливости и прочих добродетелях, они куда денутся? Но, разумеется, ты желаешь жить ради детей, для того, чтобы вскормить и воспитать их? Как же это, однако? Вскормишь и воспитаешь, уведя их в Фессалию, и вдобавок ко всему прочему сделаешь их чужеземцами? Или ты этого не думаешь делать, а думаешь, что они получат лучшее воспитание и образование, если будут воспитываться при твоей жизни, хотя бы и вдали от тебя? Или твои близкие будут о них заботиться, если ты переселишься в Фессалию, а если переселишься в Аид, то не будут? Надо полагать, что будут, если они только на что-нибудь годятся, твои, так называемые, близкие.

Нет, Сократ, послушайся ты нас, своих воспитателей, и не ставь ничего впереди справедливости – ни детей, ни жизни, ни еще чего-нибудь, чтобы, придя в Аид, ты мог оправдаться этим пред тамошними правителями. В самом деле, если ты сделаешь то, что намерен сделать, то и здесь не будет хорошо ни для тебя, ни для кого-нибудь из твоих – не будет ни справедливо, ни согласно с волею богов, да и после того, как придешь туда, будет не лучше; и если ты уйдешь теперь, то уйдешь обиженный не нами, Законами, а людьми. Если же выйдешь из тюрьмы, столь постыдно воздав за несправедливость и зло, нарушив заключенные с нами договоры и обязательства, то и мы будем на тебя сердиться при твоей жизни, да и там наши братья, законы Аида, не примут тебя с радостью, зная, что ты и нас готов был уничтожить, насколько это от тебя зависело. Да не убедит тебя Критон послушаться скорее его, нежели нас».

Если думаешь сказать сильнее, говори, Критон.

*Критон.* Но мне нечего сказать, Сократ.

*Сократ.* Оставим же это, Критон, и сделаем так, как бог указывает.

## Федон

*Эхекрат.* Ну, а какова была сама кончина, Федон? Что он говорил? Как держался? Кто был при нем? Или же власти никого не допустили, и он умер в одиночестве?

*Федон.* Да что ты, с ним были друзья, и даже много друзей. Сидя подле него, я испытывал удивительное чувство. Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к нему не ощущал – он казался мне счастливецом, Эхекрат, я видел поступки и слышал речи счастливого человека! До того бесстрашно и благородно он умирал, что у меня даже являлась мысль, будто и в Аид он отходит не без божественного предопределе-



ния и там, в Аиде, будет блаженнее, чем кто-либо иной. Мы и до того каждый день навещали Сократа, проводя с ним весь день. В то утро мы собрались раньше обыкновенного: накануне, уходя из тюрьмы, мы узнали, что корабль возвратился с Делоса.

... Сократ передал через Кебета Евену:

– Скажи ему от меня «прощай» и прибавь, чтобы как можно скорее следовал за мною, если он человек здравомыслящий. Я-то, видимо, сегодня отхожу.

– Да как же убедить в этом Евена, Сократ? Насколько я знаю этого человека, ни за что он не послушается твоего совета по доброй воле.

– Почему же? Разве Евен не философ? Тогда он согласится со мною. Правда, руки на себя он, надеюсь, не наложит: это считается недозволенным.

– Почему же, Сократ, считается, что убить самого себя непозволительно? Сказать по правде, я уже слышал и от других, что этого делать нельзя. Но ничего ясного я никогда ни от кого не слыхал.

– Не надо падать духом, – сказал Сократ, – возможно, еще услышишь. Это не терпит никаких исключений, как бывает во всех остальных случаях. Бесспорно, есть люди, которым лучше умереть, чем жить, и, размышляя о них – о тех, кому лучше умереть, – ты будешь озадачен, почему считается нечестивым, если такие люди сами окажут себе благодеяние, почему они обязаны ждать, пока их облагодетельствует кто-то другой. Сокровенное учение гласит, что мы, люди, находимся как бы под стражей и не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать, – величественное, на мой взгляд, учение и очень глубокое. И вот что еще, Кебет, хорошо сказано, по моему: о нас пекутся и заботятся боги, и потому мы, люди, – часть божественного достояния. Согласен ты с этим или нет?

– Согласен, – отвечал Кебет.

– Но если бы кто-нибудь из тебе принадлежащих убил себя, не справившись предварительно, угодна ли тебе его смерть, ты бы, верно, разгневался? Тогда, пожалуй, совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока бог каким-нибудь образом его к этому не принудит, как, например, сегодня – меня.

– Да, это, пожалуй, верно, – сказал Кебет. – Но то, о чем ты сейчас говорил, будто философы с легкостью согласились бы умереть, раз мы только что рассудили, что бог печется о нас и что мы – его достояние. Бессмысленно предполагать, чтобы разумные не испытывали недовольства, выходя из-под покровительства богов. Едва ли они, очутившись на свободе, смогут лучше позаботиться о себе сами. Иное дело – человек безрассудный: тот, пожалуй, решит как раз, что надо бежать от своего владыки. Мне кажется, всякий, кто в здравом уме, всегда стремится быть подле того,

кто лучше его самого. Но это противоречит твоим словам, Сократ, разумные должны умирать с недовольством, а неразумные – с весельем.

Сократ выслушал Кебета и, как показалось, обрадовался его пытливости.

– Всегда-то Кебет отыщет какие-нибудь возражения.

А Симмий на это:

– Да, Сократ, и мне кажется, что Кебет говорит дело и метит прямо в тебя. Ведь ты с легкостью принимаешь близкую разлуку и с нами, и с теми, кого сам признаешь добрыми владыками – с богами.

– Верно, – сказал Сократ, – и, по-моему, я вас понял: вы предъявляете обвинение, а я должен защищаться, как в суде. Ну, хорошо, попробую оправдаться перед вами более успешно, чем перед судьями. Да, Симмий и Кебет, если бы я не думал, что отойду, во-первых, к иным богам, мудрым и добрым, а во-вторых, к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле, я был бы не прав, спокойно встречая смерть. Но никаких оснований для недовольства у меня нет, напротив, я полон радостной надежды, что умерших ждет некое будущее и что оно, как гласят и старинные предания, неизмеримо лучше для добрых, чем для дурных. А вам, мои судьи, я хочу теперь объяснить, почему, на мой взгляд, человек, который действительно посвятил жизнь философии, перед смертью полон бодрости и надежды обрести за могилой величайшие блага. *Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью.* Люди, как правило, этого не замечают, но если это все же так, было бы, разумеется, нелепо всю жизнь стремиться только к этому, а потом, когда оно оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго и с таким рвением упражнялся!

– Клянусь Зевсом, Сократ, – улыбнулся Симмий, – большинство людей, услышав тебя, решили бы, что очень метко нападают на философов.

– Скажи, как мы рассудим: смерть есть не что иное, как отделение души от тела, верно? А «быть мертвым» – это значит, что тело, отделенное от души, существует само по себе и что душа, отделенная от тела, – тоже сама по себе? Или, быть может, смерть – это что-нибудь иное?

– Нет, то самое, – сказал Симмий.

– Как, по-твоему, свойственно философу пристрастие к так называемым удовольствиям, например к питью или к еде?

– Ни в коем случае, Сократ, – отвечал Симмий.

– А к любовным наслаждениям?

– И того меньше!

– Как тебе кажется, много значат для такого человека щегольские сандалии, или плащ, или другие наряды, украшающие тело, – ценит он подобные вещи или не ставит ни во что, разумеется, кроме самых необходимых? Как тебе кажется?

– Ни во что не ставит. По крайней мере, если он настоящий философ.

– Значит, вообще, по-твоему, его заботы обращены не на тело, но почти целиком – насколько возможно отвлечься от собственного тела – на душу? Стало быть, именно в том прежде всего обнаруживает себя философ, что освобождает душу от общения с телом в большей мере, чем любой другой из людей?

– Да, пожалуй.

– И наверное, Симмий, по мнению большинства людей, тому, кто не находит в удовольствиях ничего приятного и не получает своей доли, и жить-то не стоит? Ведь он уже на полдороге к смерти, раз несколько не думает о телесных радостях! А теперь взглянем, как приобретается способность мышления. Препятствует ли этому тело или нет, если взять его в соучастники философских разысканий? Могут ли люди доверять своему слуху и зрению? Но если эти два телесных чувства ни точно, ни ясно, стью не отличаются, тем менее надежны остальные, ибо все они, по-моему, слабее и ниже этих двух. Или ты иного мнения?

– Нет, что ты!

– Когда же в таком случае, – продолжал Сократ, – душа приходит в соприкосновение с истиной? Ведь, принимаясь исследовать что бы то ни было совместно с телом, она всякий раз обманывается по вине тела. Так не в размышлении ли – и только в нем одном – раскрывается перед нею что-то от подлинного бытия? И лучше всего мыслит она, конечно, когда ее не тревожит ни слух, ни зрение, ни боль, ни удовольствие, когда она устремится к подлинному бытию, прекращая и пресекая, насколько это возможно, общение с телом.

– Так оно и есть.

– Теперь такой вопрос, Симмий. Признаём мы, что существует справедливое само по себе, прекрасное и доброе?

– Как же не признать?

– А тебе случалось хоть раз видеть что-нибудь подобное воочию?

– Конечно, нет, – сказал Симмий.

– Значит, ты постиг это с помощью какого-то иного телесного чувства? Или же, напротив, разрешит эту задачу тот, кто подходит к каждой вещи средствами одной лишь мысли (насколько это возможно), не привлекая в ходе размышления ни зрения, ни иного какого чувства? Примерно такое убеждение и должно составить у подлинных философов, и вот что приблизительно могли бы они сказать друг другу: «Пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот – истина. В самом деле, тело не только доставляет нам тысячи хлопот – ведь ему необходимо пропитание! – но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массой всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам

совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, и стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим. Вот по всем этим причинам – по вине тела – у нас и нет досуга для философии.

У нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе душой. Одно из двух: или знание вообще недостижимо, или же достижимо только после смерти. Ведь только тогда, и никак не раньше, душа остается сама по себе, без тела. А пока мы живы, мы, по-видимому, тогда будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам бог нас не освободит. Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, объединимся с другими такими же, как и мы, чистыми существами и собственными силами познаем все чистое, а это и есть истина. А нечистому касаться чистого не дозволено». Так что назначенное мне путешествие я начинаю с доброю надеждою, как и всякий другой, кто верит, что очистил свой ум и этим привел его в должную готовность. Немало людей жаждали сойти в Аид после смерти любимого, супруги или же сына: их вела надежда встретиться там со своими желанными и больше с ними не разлучаться. А человек, который на самом деле любит разумение и проникся уверенностью, что нигде не приобщится к нему полностью, кроме как в Аиде, – этот человек будет досадовать, когда наступит смерть, и отойдет, полный печали?! Вот как нам надо рассуждать, друг Симмий, если мы говорим о настоящем философе, ибо он будет совершенно уверен, что нигде в ином месте не приобщится к разумению во всей его, чистоте. Разве это не чистейшая бессмыслица, чтобы такой человек боялся смерти?

– Да, полная бессмыслица, клянусь Зевсом, – сказал Симмий.

– А если ты увидишь человека, которого близкая смерть огорчает, не свидетельствует ли это, что он любит не мудрость, а тело? А может, он окажется и любителем богатства, или любителем почестей, или того и другого разом. Истинное – это действительно очищение от всех страстей, а рассудительность, справедливость, мужество и само разумение – средство такого очищения. И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств, были не так уж просты, но на самом деле еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, «много тирсоносцев, да мало вакхантов», и «вакханты» здесь, на мой взгляд, не кто иной, как только истинные философы. Одним из них старался стать и я всю жизнь, всеми силами, ничего не упуская. Верно ли я старался и чего

мы достигли, мы узнаем точно, если то будет угодно богу, когда придем в Аид. Ждать осталось недолго.

Вот вам моя защитительная речь, Симмий и Кебет. И если бы вам моя речь показалась более убедительной, чем афинским судьям, это было бы хорошо.

Когда Сократ закончил, заговорил Кебет:

– Сказано прекрасно, кроме одного: то, что ты говорил о душе, вызывает у людей сомнения. Они опасаются, что, расставшись с телом, душа уже нигде не существует, но уничтожается в тот миг, как человек умирает. Но что душа умершего продолжает существовать – это требует веских доказательств и разъяснений.

– Верно, Кебет, – согласился Сократ. – Начнем вот с какого вопроса: души скончавшихся находятся в Аиде или же нет? Есть древнее учение – мы его уже вспоминали, – что души, пришедшие отсюда, находятся там и снова возвращаются сюда, возникая из умерших. Если это так, если живые вновь возникают из умерших, то, по-видимому, наши души должны побывать там, в Аиде, не правда ли? Если бы их там не было, они не могли бы вернуться; и если бы мы с полной ясностью обнаружили, что живые возникают из умерших и никак не иначе, это было бы доказательством нашей правоты. Если же все это не так, поищем иных доводов.

– Отлично, – сказал Кебет.

– Посмотри на все, чему присуще возникновение, и давай подумаем, не таким ли образом возникает все вообще – противоположное из противоположного. Если существуют противоположные вещи, необходимо ли, чтобы одна непременно возникала из противоположной? Например, когда что-нибудь становится больше, значит ли это с необходимостью, что сперва оно было меньшим, а потом из меньшего становится большим? Если что становится хуже, то не из лучшего ли? Если справедливее, то из несправедливого? Так?

– А как же иначе?

– Так как противоположностей две, то возможны два перехода – от одной противоположности к другой или, наоборот, от второй к первой. Например, между большей вещью и меньшей возможны рост и убывание, и об одной мы говорим, что она убывает, о другой – что растет. Не иначе обстоит дело с разъединением и соединением, с охлаждением и нагреванием и во всех остальных случаях; противоположности возникают одна из другой, и переход этот обоюдный. Ты совершенно прав, – сказал Кебет.

– Теперь ответь мне, есть ли что-нибудь противоположное жизни, как сон противоположен бодрствованию?

– Конечно, есть. Смерть, – отвечал Кебет.

– Значит, раз они противоположны, то возникают друг из друга, и между двумя этими противоположностями возможны два перехода.

– Ну, конечно!

– Стало быть, из живого что возникает?

– Мертвое, – промолвил Кебет.

– А из мертвого что? – продолжал Сократ.

– Должен признать, что живое, – сказал Кебет,

– Не правда ли, из двух переходов, связанных с этой парой, один совершенно ясен? Ведь умирание – вещь ясная? Как же мы теперь поступим? Не станем вводить для равновесия противоположный переход – пускай себе природа хромает на одну ногу? Или же мы обязаны уравновесить умирание противоположным переходом?

– Пожалуй, что обязаны.

– Но если так, мы уже располагаем достаточным, на мой взгляд, доказательством, что души умерших должны существовать в каком-то месте, откуда они вновь возвращаются к жизни.

– Да, Сократ, мне кажется – это необходимый вывод, – сказал Кебет.

– А вот взгляни, Кебет, еще довод в пользу того, что не напрасно, на мой взгляд, пришли мы с тобою к согласию. Если бы возникающие противоположности не уравнивали постоянно одна другую, словно описываемая круг, если бы возникновение шло по прямой линии, только в одном направлении и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону, – ты сам понимаешь, что все в конце концов приняло бы один и тот же образ, приобрело одни и те же свойства, и возникновение прекратилось бы.

– Нет, не понимаю. Как это? – спросил Кебет.

– Да очень просто! – отвечал Сократ, – если бы все причастное к жизни умирало, а умерев, оставалось бы мертвым и вновь не оживало, – разве не совершенно ясно, что в конце концов все стало бы мертво и жизнь бы исчезла? И если бы даже живое возникало из чего-нибудь иного, а затем все-таки умирало, каким образом можно было бы избежать всеобщей смерти и уничтожения?

– Никаким, сколько я могу судить, Сократ, – сказал Кебет. – А ты, мне кажется, рассуждаешь совершенно верно. Твои мысли подтверждает еще один довод, если только верно то, что ты так часто, бывало, повторял, а именно что знание на самом деле не что иное, как припоминание: то, что мы теперь припоминаем, мы должны были знать в прошлом, – вот что с необходимостью следует из этого довода. Но это было бы невозможно, если бы наша душа не существовала уже в каком-то месте, прежде чем родиться в нашем человеческом образе. Значит, опять выходит, что душа бессмертна.

– Но как это доказывается? – спросил Симмий.

– Мы оба, разумеется, сходимся на том, что, если человеку предстоит что-либо припомнить, он должен уже знать это заранее. Тогда если чело-

век, что-то увидев, или услышав, или восприняв иным каким-либо чувством, не только узнает это, но еще и примыслит нечто иное, принадлежащее к иному знанию, разве не вправе мы утверждать, что он вспомнил то, о чем мыслит?

– Как это?

– Вот тебе пример. Знать человека и знать лиру – то ведь разные знания?

– Само собой.

– Но тебе, конечно, известно, что испытывают влюбленные, когда увидят лиру, или плащ, или иное что из вещей своего любимца: они узнают лиру, и тут же в уме у них возникает образ юноши, которому эта лира принадлежит. Это и есть припоминание. Но в особенности, мне кажется, нужно говорить о припоминании, когда дело касается вещей, забытых с течением времени или давно не виденных. Возможно ли, увидев нарисованного коня или нарисованную лиру, вспомнить вдруг о человеке? Или, увидев нарисованного Симмия, вспомнить Кебета? А увидев нарисованного Симмия, вспомнить самого Симмия?

– Вполне возможно.

– Не следует ли из всего этого, что припоминание вызывается когда сходством, а когда и несходством? И если мы припоминаем о чем-то по сходству, не бывает ли при этом, что мы непременно задаемся вопросом, насколько полно или, напротив, неполно это сходство с припоминаемым?

– Непременно бывает.

– Смотри, верно ли я рассуждаю. Мы признаем, что существует нечто, называемое равным, – я говорю не о том, что бревно бывает равно бревну, но о равенстве самом по себе. Признаем мы, что оно существует? Мы знаем, что это такое?

– Прекрасно знаем.

– Но откуда мы берем это знание? Не из тех ли вещей, о которых мы сейчас говорили? Видя равные между собою бревна, или камни, или еще что-нибудь, мы через них постигаем иное, отличное от них. Или же оно не кажется тебе иным, отличным? Тогда взгляни вот так: бывает, что равные камни или бревна хоть и не меняются нисколько, а все ж одному человеку кажутся равными, а другому нет?

– Конечно, бывает.

– Ну, а равное само по себе – не случилось ли, чтобы оно казалось тебе неравным, то есть чтобы равенство показалось тебе неравенством?

– Никогда, Сократ!

– Значит, это не одно и то же, – сказал Сократ, – равные вещи и само равенство. И однако же, знание о нем ты примысливаешь и извлекаешь как раз из этих равных вещей, как ни отличны они от самого равенства, верно?

– Вернее не скажешь, – отвечал Симмий.

– А бревна представляются нам равными в той же мере, что и равное само по себе, или им недостает этого равного, чтобы ему уподобиться?

– Недостает, и очень, – отвечал Симмий.

– Тогда представь себе, что человек, увидев какой-нибудь предмет, подумает: «То, что у меня сейчас перед глазами, стремится уподобиться чему-то иному из существующего, но таким же точно сделаться не может и остается ниже, хуже». Согласимся ли мы, что этот человек непременно должен заранее знать второй предмет, который он находит схожим с первым, хоть и не полностью?

– Непременно согласимся.

– Ну, стало быть, мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как впервые увидим равные предметы и уразумеем, что все они стремятся быть такими же, как равное само по себе, но полностью этого не достигают. Отсюда следует, что, прежде чем начать видеть, слышать и вообще чувствовать, мы должны были каким-то образом узнать о равном самом по себе – что это такое, раз нам предстояло соотносить с ним равенства, постигаемые чувствами: ведь мы понимаем, что все они желают быть такими же, как оно, но уступают ему. Видим мы, слышим и вообще чувствуем с того самого мига, как родились на свет? Но знанием равного мы должны были обладать еще до рождения?

– Выходит, что так.

– А если мы приобрели его до рождения и с ним появились на свет, наверно, мы знали – и до рождения, и сразу после – не только равное, большее и меньшее, но и все остальное подобного рода? Ведь не на одно равное распространяется наше доказательство, но совершенно так же и на прекрасное само по себе, и на доброе само по себе, и справедливое, и священное – одним словом, как я сейчас сказал, на все, что мы в своих беседах, и предлагая вопросы, и отыскивая ответы, помечаем печатью «бытия самого по себе». Так что мы должны были знать все это, еще не родившись. Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем прежние знания, тогда, по-моему, «поплавать» означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это «припоминанием», мы бы, пожалуй, употребили правильное слово.

– Совершенно правильное.

– Но когда появляются у нас в душе эти знания? Ведь не после того, как мы родились в человеческом облике?

– Конечно, нет!

– Стало быть, Симмий, наши души и до того, как довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом.

– Да, если только мы не приобретаем эти знания тот самый миг, когда рождаемся, Сократ: вот время, которое мы еще не приняли в расчет.

– Будь по-твоему, друг, но тогда в какое же время мы их теряем? Ведь мы не рождаемся с этими знаниями, как мы только что с тобою согласились. Может быть, мы теряем их в тот же миг, в который и приобретаем? Или ты укажешь иное время?

– Нет, Сократ, не укажу. Теперь я понял, что сказал глупость.

– Тогда, Симмий, вот к чему мы пришли: если существует прекрасное, и доброе, и другие подобного рода сущности, к которым мы возводим все, полученное в чувственных восприятиях, причем обнаруживается, что все это досталось нам с самого начала, – если это так, то с той же необходимостью, с какой есть эти сущности, существует и наша душа, прежде чем мы родимся на свет.

– Но будет ли она существовать и после того, как мы умрем, – сказал Симмий, – это представляется еще не доказанным. Еще не опровергнуто опасение большинства, о котором говорил Кебет, что со смертью человека душа немедленно рассеивается и ее существованию настает конец.

– Ты прав, Симмий, – заметил Кебет. – Я бы сказал так: доказана только половина того, что нужно, а именно что наша душа существовала прежде, чем мы родились. Надо еще доказать, что и когда мы умрем, она будет существовать ничуть не хуже, чем до нашего рождения. Иначе доказательство останется незавершенным.

– Оно уже и теперь завершено, Симмий и Кебет, – возразил Сократ, – если вы потрудитесь соединить в одно два доказательства – это и другое, на котором мы сошлись раньше, то есть что все живое возникает из умершего. Раз наша душа существовала ранее, то, вступая в жизнь и рождаясь, она возникает неизбежно из мертвого состояния. Но в таком случае она непременно должна существовать и после смерти: ведь ей предстоит родиться снова. Значит, то, о чем вы говорите, уже доказано. И все же, мне кажется, и ты, и Симмий были бы не прочь углубить это доказательство потому, что испытываете детский страх, как бы и вправду ветер не разнес и не рассеял душу, когда она выходит из тела, – в особенности если человеку выпало умирать не в тихую погоду, а в сильную бурю.

– Ну что ж, Сократ, – сказал Кебет, – сидит в нас какое-то малое дитя – постарайся же его разубедить, чтобы оно не страшилось смерти, точно буки.

– Вот какой вопрос нужно задать себе, – сказал Сократ. – Чему свойственно испытывать это состояние, то есть рассеиваться, и каким вещам оно грозит, и за какие, напротив, можно не опасаться? Потом нужно рассудить, куда отнести душу, и уж в зависимости от этого страшиться за душу или быть за нее спокойным.

– Да, верно ты говоришь.

– Не правда ли, рассеянию подвержено все составное и сложное? И возможно этой участи избежать в одном случае: когда вещь оказывается несоставной?

– Я думаю, так оно и есть, – сказал Кебет.

– Скорее всего, можно предполагать, что несоставные вещи – это те, которые всегда постоянны и неизменны, а те, что в разное время неодинаковы и неизменностью вовсе не обладают, – те составные.

[Эйдосы неизменны, вещи изменчивы. Следовательно, неизменное безвидно, незримо, зримое изменяется. Тело зримо, душа безвидна. Душа подобна] божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному, а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному подобно наше тело. [Если душа избегала связи с телом и уходит чистою, она уходит в место, подобное ей самой – божественное, разумное, и обретает блаженство]. Но если душа разлучается с телом оскверненная и замаранная, ибо всегда была в связи с телом, угождала ему, зачарованная им, его страстями и наслаждениями настолько, что ничего не считала истинным, кроме телесного, – того, что можно осязать, увидеть, выпить, съесть или использовать для любовной утехы, а все незримое, но постигаемое разумом и философским рассуждением, приучилась ненавидеть и избегать, – душа, смешанная с телесным, тяжелеет, и эта тяжесть снова тянет ее в видимый мир. Всем предназначены тела, соответствующие их главной жизненной заботе. Кто вселяется в ослов, кто – в хищников, пчел, людей; философы – в род богов.

[Вначале] душа прилеплена к телу и вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу. Философия берет душу под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается освобождать, выявляя, до какой степени обманчивы зрение, слух и остальные чувства, советуя душе сосредоточиваться и собираться в себе самой, верить только себе. Душа истинного философа бежит от радостей, желаний, печалей и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что то, чем вызвано такое ее состояние, не является предельно подлинным. У любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвозждает душу к телу, пронзает ее и делает как бы телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представления и вкусы тела, душа неизбежно перенимает его привычки, и уже никогда не прийти ей в Аид чистою – она всегда отходит, обремененная телом, и потому вскоре вновь попадает в иное тело и, точно посеянное зерно, пускает ростки. Так она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным. Цель философа – навсегда избавиться от воплощений.

[Друзья не удовлетворены – 1) то же рассуждение применимо к лире (тело, зримое) и гармонии (душа, незримое, неизменное). Может быть, душа – гармония, складывающаяся из натяжения телесных начал. 2) Возможно, душа во многих воплощениях истощается и, наконец, умирает].

*Эхекрат.* Продолжай, ради Зевса! Сократ вернулся к своему доказательству? И был он удручен – так же как и вы – или же, напротив, спокойно помог вашему исследованию? И вполне ли успешной была его помощь?

*Федон.* Знаешь, Эхекрат, я часто восхищался Сократом, но никогда не испытывал такого восхищения, как в тот раз. Он нашелся, что ответить, но в этом нет еще, пожалуй, ничего странного. Если я был восхищен сверх всякой меры, так это тем, во-первых, с какой охотой, благожелательностью он встретил возражения своих молодых собеседников, тем, как чутко подметил он наше уныние, вызванное их доводами, и, наконец, как прекрасно он нас исцелил.

[Если бы душа была гармонией, она не могла бы противиться телу, командовать им. Этим и другими доводами Сократ отвергает довод Симмия – уподобление души гармонии, а тела – лире, и следствие – что душа не долговечнее тела, как гармония не долговечнее лиры. Далее обращается к доводу Кебета].

Что ты хочешь выяснить? Главное, если я не ошибаюсь, вот что. Ты требуешь доказательства, что душа наша неуничтожима и бессмертна; в противном случае, говоришь ты, отвага философа, которому предстоит умереть и который полон бодрости и спокойствия, полагая, что за могилою он найдет блаженство, какого не мог бы обрести, если бы прожил свою жизнь иначе, – его отвага безрассудна и лишена смысла. Пусть мы обнаружили, что душа сильна и богоподобна, что она существовала и до того, как мы родились людьми, – все это, по-твоему, свидетельствует не о бессмертии души, но лишь о том, что она долговечна и уже существовала где-то в прежние времена неизмеримо долго, многое постигла и многое и совершила. Но к бессмертию это ее несколько не приближает, напротив, самое вселение ее в человеческое тело было для души началом гибели, словно болезнь. Скорбя проводит она эту свою жизнь, чтобы под конец погибнуть в том, что зовется смертью. И совершенно безразлично, утверждаешь ты, войдет ли она в тело раз или много раз, по крайней мере для наших опасений: если только человек не лишен рассудка, он непременно должен опасаться – ведь он не знает, бессмертна ли душа, и не может этого доказать.

Вот, сколько помнится, то, что ты сказал, Кебет. Не простую задачу задал ты, Кебет. Чтобы ее решить, нам придется исследовать причину рождения и разрушения в целом. И если ты не против, я расскажу тебе о том, что приключилось со мной во время такого исследования. Если что из это-

го рассказа покажется тебе полезным, ты сможешь использовать это для подкрепления твоих взглядов.

– Конечно, я не против, – ответил Кебет.

**[Аргумент четвертый: теория души как эйдоса жизни]**

Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавлялись бы от тела и от собственной порочности. Но на самом деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет иного прибежища, кроме единственного: стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собой в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то, говорят, доставляют умершему либо неопределимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир.

Ну, пора мне, пожалуй, и мыться: лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот.

– Не хочешь ли, Сократ, – заговорил Критон, – оставить нам каких-нибудь распоряжений насчет детей или еще чего-нибудь? Мы бы с величайшей охотой сослужили тебе любую службу.

– Ничего нового я не скажу, Критон, только то, что говорил всегда: думайте и пекитесь о самих себе, и тогда, что бы вы ни делали, это будет доброю службой и мне, и моим близким, и вам самим.

– А как нам тебя хоронить?

– Как угодно, – отвечал Сократ, – если, конечно, сумеете меня схватить и я не убегу от вас.

Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам, продолжал. Никак, друзья, не убедить мне Критона, он спрашивает, как меня хоронить! А ведь этот разговор о том, что, выпив яду, я с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных, кажется ему пустыми словами, которыми я хотел утешить вас, а заодно и себя. Так поручитесь же за меня перед Критоном в обратном тому, в чем он сам ручался перед судьями: он-то ручался, что я останусь на месте, а вы поручитесь, что не останусь, а удалюсь отсюда, как только умру. Тогда Критон, видя, как мое тело сжигают или зарывают в землю, уже не станет убиваться, воображая, будто я терплю что-то ужасное, и не будет говорить на похоронах, что кладет Сократа на погребальное ложе, или выносит; или зарывает. Запомни хорошенько, мой дорогой Критон: когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе скверно, но и душе причиняет зло. Так не теряй мужества и говори, что хоронишь мое тело, а хорони, как тебе заблагорассудится.

С этими словами он поднялся и пошел мыться. Затем к нему привели сыновей, пришли родственницы, Сократ сказал им несколько слов, потом велел возвращаться домой и снова вышел к нам, но больше почти не разговаривал.

– Критон, пусть принесут яд, если уже стерли. А если нет, пусть со-  
трут.

– Но солнце еще не закатилось. Другие принимали отраву много спус-  
тя после того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а иные даже насла-  
ждались любовью. Так не торопись, время еще терпит.

– Они думают, будто этим что-то выгадывают. Понятно, что я так не  
поступлю. Я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть позже,  
и только стану смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над по-  
следними ее остатками. Не спорь со мной и делай, как я говорю.

Критон кивнул рабу, тот вышел и вернулся с человеком, который  
держал в руке чашу с ядом. Он протянул ее Сократу. Сократ взял ее с пол-  
ным спокойствием, Эхекрат, не изменился в лице. Помолился о том, «что-  
бы переселение из этого мира в иной было удачным, и да будет так». Дого-  
ворив эти слова, он поднес чашу к губам и выпил до дна – спокойно и лег-  
ко. До сих пор большинство из нас удерживалось от слез, но тут мы не  
могли уже сдерживаться. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя –  
да! Не его оплакивал, но собственное горе, потерю такого друга!

– Ну что вы, чудаки! Я для того и отослал женщин, чтобы они не уст-  
роили подобного бесчинства. Меня учили, что умирать нужно в благого-  
вейном молчании. Тише, сдержите себя!

Мы застыдился и перестали плакать. Сократ сперва ходил, потом,  
когда ноги отяжелели, лег на спину... Холод добрался уже до живота, и тут  
Сократ сказал (это были его последние слова):

– Критон, мы должны Асклепию<sup>2</sup> петуха. Так отдайте же, не забудьте.

### Вопросы к тексту

#### «Пир»

1. Композиция и сюжет диалога.
2. (По речи Федра) Почему любящий божественнее любимого?
3. (По речи Павсания) В каком случае отношения между двумя людьми оправданы?
4. (По речи Эриксимаха) Какой вывод о природе любви можно сделать из речи Эриксимаха?
5. (По речи Аристофана) Перескажите миф о половинках и, исходя из него, сделайте вывод о природе любви.
6. (По речи Сократа) Назовите ступени восхождения к Прекрасному.
7. Каковы характеристики Прекрасного самого по себе?
8. Чего достигает человек одновременно с тем, как достигает Прекрасного?
9. Какова роль любви в этом восхождении?
10. Что можно сказать о личностных качествах Алкивиада?
11. (По речи Алкивиада) Каково действие на людей речей Сократа?

<sup>2</sup> Асклепий — бог врачевания; петуха ему жертвовали в благодарность за выздо-  
вление.

12. Как Сократ относится к качествам и ценностям, превозносимым толпой?
13. Правда ли, что Сократ «всю жизнь морочит людей»? Притворно ли его самоуни-  
чижение?
14. Есть ли способ «зацепить» Сократа, или он абсолютно беспристрастен и для не-  
го все равны? Можно ли стать его любимчиком?
15. О каких качествах Сократа можно узнать из дальнейшего изложения Алкивиада?
16. Какими кажутся его речи вначале и какими, если понять их глубоко?
17. Согласны ли вы с тем, как Сократ определил цель речи Алкивиада? Зачем он  
приписал Алкивиаду подобные мотивы?
18. Что добавляет к облику Сократа окончание произведения?

#### «Федр»

1. О каком неистовстве идет речь? Какие бывают виды неистовства?
2. Как Сократ обосновывает бессмертие души?
3. Почему Сократ предпочитает говорить о душе не прямо, а с использованием ме-  
тафоры?
4. Чему в душе соответствуют возникши и каждый конь?
5. Что означает «Всякая душа распространяется по всему небу»?
6. Какая способность души символизируется крыльями?
7. Что находится «за пределами неба»? Что говорится о «занебесной области» в  
других культурах?
8. Что происходит с душой после утраты крыльев?
9. Как происходит процесс познания?
10. Всякая ли душа может воплотиться в человеческом теле?
11. Кем считают совершенного (обращенного к Божественному Бытию)? Почему?
12. Что напоминает человеку телесная красота? Что происходит с душой при созер-  
цании красоты?
13. Что священное мы видели раньше?
14. Чем является тело для души?
15. Насек ли красота действует одинаковым образом?
16. Как любовь связана с божественным?
17. Что происходит с душой в раслуке с возлюбленным?
18. Какое действие производит на душу любовь чисто духовная? Плотская? К чему  
приведет брак по расчету?
19. Является ли письменность помощником памяти? Почему?
20. С чем (кем) не может общаться современный человек, в отличие от древнего?

#### «Апология Сократа»

1. Что подтолкнуло Сократа к осознанию своей миссии?
2. Почему люди возненавидели Сократа?
3. Удастся ли Сократу опровергнуть обвинения, выдвинутые против него? Каким  
образом?
4. Почему глупо бояться смерти?
5. Что ответил бы Сократ, если бы его опустили и сказали: «Иди, Сократ, с бо-  
гом, только молчи, не философствуй»?
6. Каков главный предмет бесед Сократа с людьми?

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

7. Можно ли наказать Сократа смертью, если он ее не считает злом? Кого наказывают афиняне на самом деле?
8. В чем Сократ видит свою миссию?
9. Какова природа голоса, который слышит Сократ?
10. Почему Сократ не привел в суд детей?
11. Почему Сократ не занимался политикой?
12. Почему Сократ не выбирает изгнание, тюрьму, штраф? Чего он заслужил, по его собственному мнению?
13. Что для Сократа страшнее смерти?
14. Нарушено ли душевное равновесие Сократа после объявления смертного приговора?
15. Что означает «С человеком хорошим не бывает ничего дурного»? Ведь Сократа приговорили к смерти.
16. Что привлекает вас в поведении Сократа?
17. О чем последняя просьба Сократа на суде?
18. Попытайтесь выстроить иерархию ценностей Сократа.
19. Не расходилось ли у Сократа слово с делом?

**«Критон»**

1. В чем смысл сна Сократа?
2. Перечислите аргументы Критона в пользу бегства. Что отвечает Сократ на каждый из них?

**«Федон»**

1. Что обращает на себя внимание Федона в поведении Сократа перед смертью, что ему кажется странным?
2. Сократ намеренно шокировал окружающих предложением следовать за собой, чтобы вызвать определенный разговор. Кому нужен был этот разговор — Сократу или его друзьям?
3. Почему недопустимо самоубийство?
4. Какое обвинение друзья предъявляют Сократу?
5. На обвинение Сократ отвечает утверждением, которое далее он доказывает. Что это за утверждение?
6. Что общего между философствованием и умиранием?
7. В каком случае возможно истинное познание?
8. Как Сократ доказывает бессмертие души? (три доказательства).
9. Как происходит процесс познания?
10. Кому было бы выгодно, если бы смерть была концом всему?
11. Какие практические выводы можно сделать из идеи бессмертия души?
12. Какое высказывание Критона вызвало последний всплеск иронии Сократа?
13. Как следует вести себя в присутствии умирающего?
14. Каков смысл последних слов Сократа?

Введение.....	3
Европейская философия.....	4
Гераклит.....	4
Платон.....	4
Пир.....	4
Речь сократа из диалога «Федр».....	16
Апология Сократа.....	26
После обвинительных речей.....	26
После обвинительного приговора.....	35
После смертного приговора.....	37
Критон.....	39
Федон.....	47
Вопросы к тексту.....	61